

А $\frac{231}{866}$

ф $\frac{1-80}{13119}$

ШКОЛА ЖИЗНИ ВЕЛИКАГО ЮМОРИСТА.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ.

Съ 15 рисунками—фототипіями и автотипіями
Ангера и Гёшля въ Ванъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе книжнаго магазина П. В. Лукомникова, Лештуконъ пер., д. 2.

1899.

Василий Петрович Авенариус

Школа жизни великого юмориста
(Ученические годы Гоголя #3)

Авенариус, Василий Петрович, беллетрист и детский писатель. Родился в 1839 году. Окончил курс в Петербургском университете. Был старшим чиновником по учреждениям императрицы Марии.

Содержание

#1	0007
Глава первая С ЗАОБЛАЧНЫХ ВЫСЕЙ НА ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ	0008
Глава вторая ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВИЧКОВ В ШКОЛЕ ЖИЗНИ	0025
Глава третья ИВАН-ЦАРЕВИЧ НА РАСПУТЬЕ	0043
Глава четвертая КОЗЫРНУЛ	0064
Глава пятая АУТОДАФЕ	0085
Глава шестая БЕЗ ОГЛЯДКИ	0106
Глава седьмая НА МОРЕ НА ОКЕАНЕ	0122
Глава восьмая НА ОСТРОВЕ НА БУЯНЕ	0136
Глава девятая В ХОМУТЕ	0154
Глава десятая ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА	0181
Глава одиннадцатая «БИСАВРЮК»	0209
Глава двенадцатая ОТ КАПИТОЛИЯ ДО ТАРПЕЙСКОЙ СКАЛЫ	0230
Глава тринадцатая КАК ИНОГДА ОДНА ЛАСТОЧКА ДЕЛАЕТ ВЕСНУ	0259
Глава четырнадцатая У ДВУХ ОТЦОВ ЛИТЕРАТУРЫ	0280
Глава пятнадцатая ПОД СКАЛЬПЕЛЕМ КРИТИКИ	0294
Глава шестнадцатая БАСНЯ О САПОЖНИКЕ И ПИРОЖНИКЕ	0309
Глава семнадцатая ПАСЕЧНИК НА ОЛИМПЕ	0333

Глава восемнадцатая DONNA SOL	0354
Глава девятнадцатая ДВЕ ПИСАТЕЛЬСКИЕ ИДИЛЛИИ	0363
Глава двадцатая ГРОЗНАЯ ГОСТЬЯ	0381
Глава двадцать первая В СПЕЦИАЛЬНОМ КЛАССЕ ШКОЛЫ ЖИЗНИ	0395
Глава двадцать вторая ДИПЛОМ НА «МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА»	0413
Эпилог	0431

В. П. Авенариус
Школа жизни великого
юмориста



Николай Васильевичъ
ГОГОЛЬ.

Биографическая повесть

Глава первая С ЗАОБЛАЧНЫХ ВЫСЕЙ НА ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ

— Я^киме! — Эге!

— Не видать еще заставы?

— Не видать, панычу.

Первый голос исходил из глубины почтовой кибитки; второй отзывался с облучка и принадлежал сидевшему рядом с ямщиком малому из хохлов: национальность его отличалась как характеристичным выговором уроженца Украины, так и висячими колбасиками усов, заиндевевших от декабрьского мороза и придававших нестарому еще хлопцу вид сивоусого казака.

Нетерпеливый паныч ему, однако, не поверил. Приподняв рукою край опущенного рогожного верха кибитки, он высунул оттуда свой длинный, загнутый крючком ном. В самом деле, впереди тянулось бесконечной лентой царскосельское шоссе с двумя рядами опущенных снегом берез и терялось вдали в

полумраке ранних зимних сумерек; по сторонам же безотрадно расстилались однообразною белою скатертью поля да поля, по которым разгуливал вольный ветер. Налетев на кибитку, он не замедлил обвеять снежным вихрем любопытствующий нос, да кстати пустил целую пригоршню порошистого мерзлого снега и под кузов кибитки к сидевшему там другому молодому путнику, так что тот взмолился ради Христа опустить рогожу и плотнее запахнулся в приподнятый воротник своей меховой шубы.

То были двадцатилетний Гоголь и его одноклассник и друг детства — Данилевский. Полгода назад — в июне 1828 года, — окончив вместе курс нежинской гимназии «высших наук» с чином четырнадцатого класса, они направлялись теперь в Петербург — один для гражданской карьеры, другой — для военной, для которой, впрочем, ему предстояло еще сперва одолеть военные науки в школе гвардейских подпрапорщиков.

— Мы точно обменялись натурами, — заметил приятелю Гоголь, — ты мерзнешь в своем еноте, а я в моем старом плаще не чув-

ствую даже мороза. А отчего? Оттого, что я буквально горю нетерпением...

— Да и мне очень любопытно взглянуть на Петербург, — отвечал Данилевский, — что это за диковина — Невский проспект?

— А знаешь что, Александр, — подхватил Гоголь, — как только прибудем, так тотчас же отправимся на Невский?

— Понятно, если вообще поспеем. Ведь теперь, пожалуй, седьмой уже час, а когда еще порешим с квартирой, когда доберемся до Невского...

— Правда, правда, черт возьми! Как, бишь, был тот адрес, что ты записал для нас на последней станции?

— У Кокушкина моста, дом Трута.

— Верно. Эй, ямщик! Ямщик обернулся.

— Что, барин?

— Далеко ли от Кокушкина моста до Невского?

— От Кокушкина? Да версты полторы, почитай, будет.

— А когда закрывают на Невском магазины?

— Да которые в восемь, которые в девятом.

— Ну вот, ну вот! Наверное, опоздаем.

— Так хоть на красавицу Неву полюбуемся, — сказал Данилевский. — Ведь Кокушкин мост, ямщик, через Неву?

— Эвона! — усмехнулся ямщик. — Через Катери-нинскую канаву. До Невы оттоле сколько еще улиц и переулков. Да и смотреть-то на Неву чего зимою? А вот тебе и Питер.

— Где? Где?

Ямщик указал кнутовищем направо и налево:

— Вон огонечки светятся.

В самом деле, в отдалении и справа и слева сквозь вечерний сумрак мелькали, мигали десятки, сотни огней.

— Наконец-то! — заликовал Гоголь. — Александр! смотри же, смотри: Петербург!

Оба чуть не на полкорпуса высунулись из-под кузова кибитки.

— Ну, Невского тут, пожалуй, и не разглядишь, — заметил Данилевский.

— А я уже совершенно ясно вижу!

— Внутренним оком поэта?

— Вот именно. Вокруг каменные громады

в пять, в шесть, в десять этажей... Колонны, балюстрады, гранитные ступени; по бокам — львы да сфинксы; в нишах статуи... Великолепие и красота изумительные, неизобразимые!.. А это что в окошке магазина? Фу ты пропасть! Целый Монблан, Эльбрус книг самоновейших, неразрезанных, с свежим еще душком типографской краски, слаще амбры и мирры... Ай-ай-ай, что за миниатюрное издание! Душу отдать — и то мало... А там вдали что светится, играет таким ярким огнем, что перед ним все эти бесчисленные брызги ламп, свечей и фонарей как плоски меркнут? Не комета ли? Нет, адмиралтейский шпиль — путеводная звезда для всего Петербурга, для всей России!.. Черт тебя побери, Петербург, как ты хорош!

— Ты, Николай, сегодня что-то особенно в ударе, — прервал Данилевский разглагольствования своего друга-поэта. — Молчишь себе, молчишь, да вдруг прорвешься. Но видишь ты до сих пор один каменный бездушный город...

— Бездушный! Сам ты, душенька, бездушный, коли эти камни душе твоей ничего не

говорят! Но вот тебе и люди: каждый в отдельности среди этих вековечных созданий человеческой мысли, человеческого искусства — мелкий, ничтожный мураш, но в массе — внушительная сила.

Какое торжество готовит древний Рим?

Куда текут народны шумны волны?..

Кому триумф?..[1]

Все, вишь, останавливаются, озираются на одного человечка, который скромненько плетется по тротуару. Кто же сей? С виду он неказист и прост, но всякий его оглядывает с особенным почтением, всякий готов воскликнуть: «Да здравствует Гоголь! Нагл великий Гоголь!»

Выкрикнул это будущий триумфатор с таким одушевлением, что поперхнулся, захлебнулся морозною струею ударившей ему прямо в лицо и в рот сиверки и жестоко раскашлялся. Данилевский поспешил усадить приятеля на место и спустить сверху рогожу в защиту от нового порыва ветра.

— Экий ты, братец! Здоровье у тебя и без

того неважное, а матушка твоя взяла с меня слово беречь ее Никошу как зеницу ока. Того гляди, схватишь капитальную простуду.

Гоголю было не до ответа: в течение нескольких минут он непрерывно кашлял и сморкался.

— А вона и трухмальные! — раздался тут с облучка голос возницы.

— Какие трухмальные? — переспросил Данилевский.

— А ворота, значит. Данилевский расхохотался.

— Триумфальные! Ну, брат Николай, как бы твой триумфальный въезд не обратился тоже в трухмальный.

Кибитка остановилась у городской пограничной гауптвахты перед спущенным шлагбаумом. Подошедший солдат потребовал у проезжающих паспорта. Когда он тут освещил фонарем под кузов кибитки, у него вырвалось невольно:

— Эй, барин! Да ты ведь нос себе отморозил. Гоголь схватился рукою за нос, который у него давно уже пощипывало.

— Ну, так, напророчил! — укорил он прия-

теля. — Не угодно ли делать завтра визиты с дулей вместо носа!

— Снегу, Яким, поскорее снегу! — заторопил Данилевский, которому было уже не до шуток.

Пока оттирали злосчастный нос, паспорта на гауптвахте были справлены и шлагбаум поднят.

— С Богом!

Мнительный по природе Гоголь настолько вдруг упал духом, что, уткнувшись в свой плащ, почти не глядел уже по сторонам. Да правду сказать, и глядеть-то было не на что: от заставы вплоть до Обуховского моста попадались только там да сям убогие, одноэтажные домишки, разделенные между собою длиннейшими заборами и пустырями. Пробиравшийся сквозь замерзшие окна этих домиков скудный свет был единственным уличным освещением, если не считать натурального освещения бесчисленных звезд, все чаще и ярче проступавших в вышине на темном фоне неба.

— Ну, столица! И фонарей-то не имеется! — воскликнул Данилевский. — Ничем, ей-Богу,

не лучше любого уездного городишки.

Гоголь отозвался сердитым «гм!». Зато ямщик, слышавший такое легкомысленное замечание молодого провинциала, счел нужным вступить за честь столицы.

— Ты, барин, Питера нашего, не выдавши, не хай! Это — пригород; за Фонтанкой только пойдет самый город.

И точно, по ту сторону Фонтанки потянулись почти сплошные ряды каменных домов, двух-, трех- и даже четырех этажных, а перед домами довольно редкая цепь тусклых масляных фонарей.

— Вот тебе и фонари, — сказал ямщик.

— Так и сверкают! — пробрюзжал из-под своего плаща Гоголь. — Сами себя освещают.

— А вот и базар наш — Сенная, — продолжал поучать ямщик, когда они добрались до Сенной площади, запруженной, по случаю рождественских праздников, кроме постоянных ларей и открытых навесов еще сотнями крестьянских саней со свинными тушами и грудями всякой живности. — Есть, небось, на что посмотреть! А вам-то от Кокушкина моста уж как способно: хоть каждый день ходи. Вам

чей дом-то?

— Трута.

— Эй, ты, кавалер! Где тут дом Трутова? Топтавшийся с ноги на ногу от мороза у своей будки будочник ткнул алебардой вниз по Садовой.

— Вон на углу-то, как свернуть к мосту, видишь домино? Он самый и будет.

Когда кибитка остановилась перед большим четырехэтажным домом, Яким соскочил с облучка и разыскал под воротами дворника, а тот, получив от Данилевского пятак, услужливо проводил молодых господ вверх по лестнице в четвертый этаж. На одной лишь первой площадке коптела печальная лампа; за ближайшим поворотом начался полумрак, который чем выше, тем более все сгущался. Ступени вдобавок обледенели, и Гоголь, поскользнувшись, едва удержался за плечо товарища.

— Подлинно столичные палаты! — сказал он. — Что, дворник, скоро ли доползем?

— Доползли-с.

На стук в дверь изнутри послышался хриплый собачий лай, потом шаги и женский го-

ЛОС:

— Кто там?

— Это я, Амалия Карловна, дворник с приезжими господами: комнаты у вас снять хотят.

Железный крюк щелкнул, и дверь растворилась. Перед приезжими предстала со свечью в руках барыня средних лет в чепце, в которой и без ее иностранного акцента, по чертам лица и опрятному наряду не трудно было признать немку.

— Войдите, пожалуйста! — пригласила Амалия Карловна, отступая назад в прихожую. — А ты поди, поди! — махнула она рукой дворнику, как бы опасаясь его вмешательства в предстоящие переговоры с новыми жильцами.

Гоголь был, видно, уже порядком простужен, потому что от внезапно брызнувшего ему в глаза света разразился таким звонким чихом, что хозяйка ахнула: «Ach, Herr Jesus!» — и отшатнулась, а вертевшаяся у ног ее мохнатая собачонка, поджав хвост, с визгом отретировалась за свою госпожу.

Данилевский, повесивший между тем на

вешалку свою тяжелую енотовую шубу, стал объяснять барыне, что на последней станции в Пулкове они прочли ее объявление о сдаваемых комнатах.

— О, да, да! Две как раз еще не заняты, — засуетилась она и провела молодых людей из прихожей сперва в одну пустую комнату, потом в другую.

— А мебель-то где же?

— Мебель? — словно удивилась она и принялась излагать чрезвычайно убедительно, что в Петербурге-де солидные молодые люди («solide junge Herren») всегда обзаводятся собственной мебелью...

— Но при нас еще и человек...

Для «человека» Амалия Карловна готова была поставить в коридоре железную кровать, и все за те же сто рублей в месяц[2].

— Сто рублей! — ужаснулся Данилевский. — Может быть, с едою?

Оказалось, что без еды, но жильцам предоставлялось право без особой надбавки варить себе кушанье на хозяйской кухне.

— Но это и все! — решительно заключила Амалия Карловна, взмахнув по воздуху своим

шандалом, как фельдмаршальским жезлом.

— Неужели ничего не спустите?

— Ни копейки!

— Придется, кажется, покориться, — шепотом заметил приятелю Данилевский.

— Молчи! — тихо буркнул тот и как-то особенно добродушно и приветливо заглянул снизу в строгое лицо квартирной хозяйки. — А знаете ли, почтеннейшая Амалия Карловна, чем более я этак всматриваюсь в ваши черты, тем более они мне кажутся знакомыми и даже родственными. Посмотри-ка, Александр, ведь ни дать ни взять тетушка Пульхерия Трофимовна?

— И то правда, — согласился Данилевский, с трудом подавляя усмешку: хотя у Амалии Карловны, благодаря легкому пушку над верхнею губою, и можно было при желании найти отдаленное сходство с некоей Пульхерией Трофимовной, пожилой барыней-помещицей, которую они оба встречали когда-то в деревне, но Пульхерия Трофимовна ни в какой степени родства не приходилась тетушкою ни Гоголю, ни Данилевскому, и особенной привлекательности в ней до тех пор ни-

кто еще не находил.

— Только Амалия Карловна, понятное дело, куда красивее, да и лет на двадцать моложе, — продолжал Гоголь. — Простите за нескромный вопрос: ведь вам не более тридцати?

Улыбка удовольствия раздвинула сжатые губы Амалии Карловны.

— Ну да! У меня уже сын — такой же большой, как вы.

— Вы шутите? Это просто невероятно, nepocтижимо! Но сын у вас, верно, не свой, а мужнин?

— Нет, свой.

— Удивительно! Ganz wunderbar! Так как же нам быть-то, meine liebe Madam? Сто рублей нам, право, не по карману. Сердце у вас, я знаю, предобренькое. Лицо ваше не станет обманывать! Уступите, ну, ради сына?

Просил молодой человек так умильно, глядел на нее такими маслянистыми глазами (благодаря отчасти и насморку)... Амалия Карловна минутку, видимо, колебалась, однако выдержала характер.

— Извините, господа, но комнаты у меня

никогда не ходили дешевле.

Гоголь тяжело вздохнул и с чувством начал сморкаться.

— И изволь-ка теперь, простуженный, искать себе по городу другого пристанища! Ну, что же делать?! Was thun?! Но на прощанье, мадам, вы не откажете мне в последней милости — в сале от вашей свечки для моего несчастного носа?

В последней милости мадам не отказала. Гоголь был, казалось, искренне тронут.

— И жилось бы нам у вас, как у Христа за пазухой... Ну, да не задалось! Прощенья просим, Hebe, gute Madam, за беспокойство. Идем, Александр.

— Warten Sie! — остановила их в дверях хозяйка. — Двадцать рублей я, так и быть, сбавлю.

— Что я говорил? Сердце у вас все-таки ангельское! Я уверен, что еще десяточек спустите.

— О нет! Восемьдесят рублей в месяц — дешевле никак нельзя. И только потому, что хорошие, вижу, господа...

Друзья украдкой переглянулись. «Больше

не сбавит», — прочли они в глазах друг друга.

— Но тюфяки-то на одну ночь у вас найдутся?

— Может быть, и охапка дров и самовар! — добавил Данилевский. — Комнаты эти как будто не топлены, даже пар изо рта идет.

Нашлись и тюфяки, и дрова, и самовар. Тем не менее, или, может быть, вследствие именно внезапного перехода от холода к теплу за горячим стаканом чая насморк у Гоголя так усилился, что Яким должен был достать из чемодана пачку свежих платков.

Хлопотавшая около самовара Амалия Карловна с возрастающим участием поглядывала на нового жильца.

— У меня есть от насморка одно симпатическое средство, — сказала она. — Надо взять бумажку, написать: «Я дарю вам мой насморк» и бросить на улице.

— А кто поднимет, тот и будет с подарком? Пресимпатичное средство! Сейчас испробуем. Карандаш и бумажка у меня найдутся, нет только конверта...

— А конверт я вам дам от себя, — подхватила хозяйка.

— Ну, как есть тетушка! Что я говорил, Александр? Хорошо тому жить, кому тетушка ворожит.

Глава вторая ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВИЧКОВ В ШКОЛЕ ЖИЗНИ

Симпатическое средство почтенной Амалии Карловны на этот раз, однако, не оказало своего целебного действия. Когда Гоголь на следующее утро протер глаза, то многократно расчихался: насморк его был еще в полном расцвете; когда же он взглянул на себя в дорожное складное зеркальце, то даже плюнул:

— Тьфу! И глядеть непристойно.

Тут оказалось, что Данилевский не только уже встал и напился чаю, но и из дому отлучился — закупить в Апраксином рынке мебель и постельные принадлежности.

— А оттуда ведь, злодей, бьюсь об заклад, завернет еще на Невский! Господи, Господи! А я сиднем сижу, — убивался Гоголь. — Смотри-ка, Яким: никак снег идет?

— Идет, — подтвердил Яким, — еще с вечера пошел, как я письмо с насморком относил.

— Так, верно, потеплело! Подай-ка мне новый фрак.

— Да куды вы, паночку? Ще пуще занедужаете.

— Не могу я сидеть в четырех стенах и киснуть, когда знаю, что здесь же, в Петербурге, живет мой лучший друг — Высоцкий, с которым я не виделся целую вечность — два года слишком.

— Так я бы съездил за ним...

— Нет, нет, я хочу застать его врасплох; да, кроме того, мне надо еще к одному важному господину с поклоном.

Напрасно отговарили его и Яким и хозяйка, которая, по-видимому, все еще не теряла надежды, что ее хваленое средство в конце концов оправдает свою славу.

— Не надейтесь, мадам, я уж такой неудачник, — сказал Гоголь, — письмо, верно, снегом замело, и никто его не поднял. А вот кабы у вас нашлась пудра, чтобы мало-мальски облагодать мое нюхало...

Пудры косметической у мадам не нашлось, но назначение ее с успехом исполнила домашняя пудра — картофельная мука, небольшой запасец которой заботливая немка завернула еще ему в бумажку на дорогу.

И сидит он опять в санях и едет к Высоцкому. Извозчик попался ему из жалких «ванек»; малорослая деревенская лошаденка, лохматая и пегая, смахивавшая более на корову, чем на коня, плелась мелкою рысцой.

«Колесница триумфатора! — иронизировал седок над самим собою. — Спасибо, хоть не так уж холодно»...

В самом деле, как это нередко бывает в нашей приморской столице, жестокий мороз сменился разом чуть не оттепелью. Тем не менее Гоголь, не отделавшись еще от вчерашней простуды, ежился в своем стареньком плаще и накрылся на всякий случай еще широким воротником, как капюшоном, чтобы охранить свое «нюхало» от крутившихся кругом снежных хлопьев. Путь впереди лежал довольно долгий — на Петербургскую сторону, в какую-то Гулярную; надо было как-нибудь скоротать время, и, зажмурясь, Гоголь предался мечтаниям о предстоящей встрече с Высоцким.

«Неужто расчувствуемся, обабимся опять оба, как тогда при последнем прощанье, прижмем друг друга к сердцу, или выдержим ха-

рактир и просто пожмем друг другу руки? А может быть, его и дома-то не будет? Ну, что ж, обожду у него в кабинете, пороюсь в его книгах: что-то он теперь читает? И вот что, — да, да, непременно! — как услышу только его шаги в прихожей, спрячусь поскорей за какой-нибудь шкаф или печку. Войдет он, ничего не подозревая, и вдруг ему сзади зажимают руками глаза: „Кто я? Угадай-ка?“ Сердце ему, разумеется, подскажет. Но он не покажет виду, а преспокойно, как ни в чем не бывало, обернется и протянет руку: „Как поживаете, дружище?“ — „Помаленьку. А ты как?“ И пойдут расспросы и ответы без конца. „А что, Николай Васильевич, — скажет он тут, — хочешь место в 1200 рублей?“ — „Как! У тебя есть для меня такое место?“ — „Есть. Для начала ведь недурно? Сто рублей в месяц; а там, через год, найдем и лучше“. Вот друг, так друг! Тут, пожалуй, уж не выдержишь, облапишь его, чмокнешь в обе щеки. „Но вот беда-то, Герасим Иванович: ведь надо представиться новому начальству, а у меня нет еще и порядочного, парадного фрака“... Герасим же Иванович, победоносно улыбаясь, идет к шка-

фу и достает оттуда фрак, великолепнейший, синего цвета с металлическими пуговицами: „Как вам покажется, синьор, сия штука? Специально для вас заказана у Руча — первого столичного портных дел мастера. Суконце тончайшее, английское. Не угодно ли пощупать: персик! А фасон-то: последнее слово науки!“

— Эй, барин, заснул, что ли? — окликнул возница седока, замечтавшегося под своим капюшоном.

— Разве мы уже в Гулярной?

— В Гулярной. Да чей дом-то?

Гоголь назвал домохозяина. По счастью, мимо них по занесенным снегом деревянным мосткам перебиралась какая-то не то кухарка, не то чиновница с кульком провизии. На вопрос извозчика она указала на один из убогих, одноэтажных домиков столичного захолустья.

Господи Боже! И это прославленный Петербург? Это Нежин, хуже Нежина! Дрянь, совсем дрянь! И здесь-то приютился он, друг сердечный?

Рассчитавшись с извозчиком, Гоголь, увя-

зая в снегу, добрался кое-как до калитки, а оттуда во двор до покосившегося крылечка.

А что, если Герасим Иванович ему даже не обрадуется? На последние письма к нему не было ведь и ответа...

Звонка на крыльце не оказалось, и Гоголь с невольным замиранием постучался в низенькую дверь. Только на третий стук дверь вполтину отворилась. Но показавшийся за нею старичок в ермолке и ветхом ватном шлафроке — из отставных, видно, чиновников, — держась за дверную скобку, заслонил вход и пробрюзжал довольно нерадушно:

— Вам кого?

— Высоцкого, Герасима Ивановича. Ведь он здесь живет?

— Жить-то жил, да след простыл.

— Выехал? Но не из Петербурга же?

— Из Петербурга.

Гоголь был совсем ошеломлен.

— В провинцию, значит! Но куда?

— А почему мы знаем. Снимал хоть у нас комнату, да сторонился нашей бедноты, гордец, зубоскал, не тем будь помянут. Сам, вишь, важная птица! Ну, и скатертью дорога!

Дверь закрылась. Гоголь все еще не мог опомниться.

Да, да! Высоцкий хоть и зубоскал, точно, но одного с ним поля ягода. Они понимали друг друга с полуслова, жить бы только душа в душу... И вдруг, не говоря дурного слова, скрылся с горизонта бесследно, как метеор, не оставив даже ни строчки. Открылось, изволите видеть, где-то в провинции теплое местечко, — не нужны стали прежние друзья, и отряхнул их с себя, как пыль, как сор... Но нет же, нет, не может быть! Неужели так и не придется больше свидеться в жизни?[3]

Безотраднейшее чувство первого разочарования в незыблемой святости дружбы с нестерпимую горечью поднялось в груди отвергнутого друга. От наворачнувшейся на глаза сырости ничего не различая перед собою он, спотыкаясь, выбрался снова из калитки. Расчитанный им ванька, по счастью, еще не отъехал: надо было дать передохнуть слабой лошаденке, а может, и седок не застанет кого нужно.

— Не застал, знать, дома?

— Не застал...

— Так подавать опять?

— Подавай.

— Куда ж теперя везти-то?

И то, куда теперь? Тот, на которого он полагался как на каменную гору, спину показал; приходится самому уж ковать железо. Рекомендательное письмо Трощинского к чиновному тузу Кутузову благо в капмане.

— Знаешь Малую Миллионную?[4]

— Как не знать.

Снег валил рыхлыми хлопьями гуще прежнего. Накрываясь опять воротником плаща, Гоголь должен был хорошенько отряхнуться.

— Ну, повалил! — пробормотал он про себя.

— Научился, — незлобливо отозвался ванька, застегивая полость, и легонько тронул свою лошадку вожжами. — Эй, милая, не ленися: добрый барин не поскупится.

А барин под своим капюшоном сидел истуканом: на него нашло ожесточение до самозабвения, до одеревенелости. Только когда недолго погодя санки разом остановились, он очнулся и приподнял край воротника.

— Что там такое?

— А вон потянулись, — был благодушный ответ с облучка, — ровно дрова по реке гонят — никакой силой не удержишь.

Поперек пути их, в самом деле, тянулся непрерывный обоз, которому конца видать не было. Раз покорившись неумолимой судьбе, Гоголь безропотно снес и эту мелкую напасть.

— Вперед! — слышался наконец голос возницы, и санки покатались далее.

Вдруг толчок, и еще, и еще, точно спускаются круто под гору. Что за оказия? Какие в Петербурге горы? Гоголь выглянул опять из-под своей покрывки. Оказалось, что то был спуск на Неву. Путь их лежал так близко от проруби, что их обдало оттуда облаком пара.

— Дышит! — заметил опять извозчик, который, полюбив, видно, своего молчаливого седока, находил удовольствие делиться с ним впечатлениями.

Да, у этих северян-великороссов есть тоже своя наблюдательность, свои словечки; да что толку-то, коли твоя собственная комическая жилка иссякла?

Вот они и на Малой Миллионной. Будоч-

ник наставил их, где жительствоует „генерал“ Кутузов. Вылезая уж из саней перед генеральским подъездом, Гоголь вспомнил, что дорогою неоднократно прибегал к помощи носового платка.

Эх-ма! Надо опять ведь напудриться, чтобы явиться перед сановником в надлежащем виде. Но куда, в какой карман он сунул свой запасец? Экая, право, куриная память... Ага! Вот.

Но пока он шарил по карманам, на подъезде показался уже великолепный толстяк-швейцар, завидевший в стеклянную дверь подкатившие утлые извозчичьи санки.

— Отъезжай, отъезжай! — властно гаркнул он на ваньку, а затем с высокомерным недоумением оглядел молодого седока, который пока набелил себе только одну сторону носа. — Вам кого?

— Мне его превосходительство, Логгина Ивановича, — отвечал Гоголь, с замешательством пряча бумажку с косметикой.

— Не принимают.

— Нет? Почему так?

— Хворать изволят.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! И серьезно прихворнул?

— Очень даже серьезно.

Не находя нужным тратить еще лишние слова, ливрейный страж не спеша вошел обратно в подъезд и звонко хлопнул стеклянного дверью.

— Господин в ливрее! — пробормотал вслед ему Гоголь.

— Какой уж господин — собака! — сочувственно подал голос ванька, отъехавший всего шагов на десять и слышавший весь диалог. — С жиру хозяйского бесится: кто одет по-плоше, того облает, а кто почище — перед тем виляет. А теперя, батюшка, что же, обратно на фатеру, я чай, к Кокушкину мосту?

— На фатеру, сыночек, ох, на фатеру...

Временный подъем духа поддерживает и телесные силы, зато с упадком духа тем сильнее реакция. Когда Гоголь вскарабкался к себе на четвертый этаж, то тут же в полном изнеможении повалился на неубранный еще с полу матрац и защелкал зубами от жестокого озноба. Но хозяйка, смотревшая на него уже как на члена своей квартирной семьи, насто-

яла на том, чтобы он совсем улегся, сама накрыла его двумя одеялами и напоила липовым цветом с малиной до второго пота. Яким тем временем напевал панычу про непомерную петербургскую дороговизну: „За десяток репы плати ни много ни мало — 30 копеек! Картофель покупай тоже десятками, точно апельсины“...

— Добивай меня, добивай! — отвечал из-под своих двух одеял паныч, да таким жалобным тоном, что Яким, не допев, умолк.

Незадолго до обеда были доставлены из Апраксина двора закупленные Данилевским кровати с тюфяками и прочая мебель, а к обеду вернулся и он сам. На него, здорового человека, Петербург произвел совершенно иное впечатление, чем на Гоголя, и он своим восторженным настроением несколько подбодрил опять своего раскисшего друга.

— А затем в кофейне я сделал еще очень ценное для меня знакомство с одним отставным кавалеристом, — продолжал Данилевский. — Он прошел также школу подпрапорщиков и сообщил мне целую массу прелюбопытных сведений. Как видишь, и я иду по

твоим стопам — занимаюсь изучением обычаев и нравов!

— Например?

— Например, младший курс — вандалы, старший — корнеты, и корнеты муштруют вандалов, потому что отвечают за них перед начальством.

— В чем отвечают?

— В том, чтобы у тех все пуговицы были застегнуты, все ремешки подтянуты; да ведь как самих их подтягивают, как честят отборными словами!

— А вандалы молчи?

— Вандалы молчи. На то и вандалы.

— Поздравляю; завидная у тебя перспектива!

— Что, брат, поделаешь! Всякого варвара надо сперва отполировать хорошенько, чтобы сделаться „полированным“ человеком. Зато я выйду во всяком случае в гвардию.

— Почему же во всяком случае? Прилежанием ты, как и я, никогда особенно не отличался.

— Прилежанием, брат, там никого не удивишь. В „зубрилке“ корнеты заставляют ван-

далов даже надевать перчатки, чтобы не пачкать рук о „вонючие“ книги — физику, механику. Первое там условие — верховая езда и телесная ловкость. Ну, а по этой части я хоть с кем потягаюсь. „А есть у вас свой конский завод?“ — спросил меня мой новый знакомый. — „Нет, — говорю, — а что?“ — „Да чтобы пыли в глаза пустить. На первый-то хоть раз подъезжайте туда на лихаче, да дайте ему рубль на водку, так, чтобы видел швейцар, от которого потом все другие узнают“[5].

— Ай да советчик! Подлинно, что ценное знакомство.

Данилевский почесал за ухом, но тотчас беспечно усмехнулся.

— Ценнее, чем ты думаешь, — сказал он. — Сорвал с меня изрядный куш — двадцать целковых!

— Неужто ты, в самом деле, дал незнакомому человеку сразу в долг?

— Нет, он взял их с меня на биллиарде.

— Так! Не можешь отстать от этой глупой страсти. Как ты вообще сошелся с этим франтом?

— А в кофейне, говорю тебе, на Невском,

против Казанского собора. Зашел я только закусить; но тут вдруг где-то в третьей комнате слышу — бильярдные шары. Как, скажи, было устоять?

— Тебе-то — еще бы! И мышь на запах в мышеловку лезет.

— Вхожу в бильярдную; там играет какой-то усач с маркером, — не то чтобы неважно, а так, спустя рукава. Проиграл партию, обращается ко мне: „Вы, я вижу, тоже любитель; не желаете ли сразиться?“ — „С удовольствием“. — „А по какой?“ — „Да я, извините, по крупной не играю, — говорю ему, — дело ведь не в выигрыше“. — „Само собою! Но чтобы был все-таки некоторый интерес. Угодно: копейка очко?“ Чего, думаю, скромнее? Больше шести гривен не рискую. „Извольте“, — говорю. Стали мы играть. Играл он по-прежнему кое-как, проиграл мне двадцать очков. „Эй, человек! Коньяку. Не прикажете ли?“ Я поблагодарил: „Простите, не пью“. — „Эх, молодой человек, молодой человек! Ваше здоровье! А теперь не удвоить ли нам куш?“ Отказаться было уже неловко; да при его игре какой же и риск? Тут он стал играть иначе.

— Ага! Старательнее?

— Не то чтобы, нет; кий он держал в руках все так же небрежно, будто и не целясь, а между тем, — удивительное дело! — шары у него так и летали по биллиарду, попадали в лузу: хлоп да хлоп! Глядь: закатил мне сухую. Захохотал, потрепал меня по плечу. „Видали вы, как выигрывают фуксами? Однако с выигрыша я, как угодно, должен вас угостить. Одну хоть рюмочку для храбрости, а?“ — „Увольте...“ — говорю. „Нет, молодой человек, вы меня кровно обидите!“ Налил он мне рюмочку, а коньяк оказался высшего качества так и разлился у меня по жилам. Храбрости у меня, точно, прибавилось: когда он мне теперь предложил играть по гривеннику очко, я уже не стал упираться. Тут он развернулся вовсю; таких клапштосов, триплетов, квадруплетов мне в жизни видать не случалось!

— И вздул тебя напропалую?

— Да, задал мне подряд три комплектных.

— Так тебе, младенцу, и надо. Это, очевидно, профессиональный шулер.

— Может быть, и профессиональный, но профессор в своем деле несомненно; что за

комбинации, что за удар, что за чистота отделки! Не жаль, право, и двадцати рублей за урок.

— Благодарю покорно! А платка он у тебя из кармана не вытащил?

— Напротив, он повел себя настоящим джентльменом: после третьей комплектной сам предложил прекратить игру: „Вы нынче не в ударе“. Потом любезно надавал еще разных советов насчет юнкерской школы...

— И не менее любезно обещался дать тебе завтра реванш?

— Да...

— Ну, вот. Но ты, конечно, не пойдешь?

— Право, не знаю... Жаль как-то упустить случай поучиться у такого мастера! Ах, да! Из головы вон, — вспомнил вдруг Данилевский и хлопнул себя по лбу. — Ведь привез тебе оттуда гостинец.

— Откуда?

— Да из той же кофейни. Эй, Яким! В шубе у меня ты найдешь кусок кулебяки, снеси-ка на кухню и разогрей для барина.

— Но у меня нет ни малейшего аппетита, — отговорился Гоголь.

— Пустяки! От одного вида явится. Такая, я тебе скажу, аппетитная штука, что пальчики оближешь.

Глава третья ИВАН-ЦАРЕВИЧ НА РАСПУТЬЕ

Четыре месяца спустя мы видим двух друзей опять вместе — на Екатерингофском гулянье. В 1829 году, когда железных дорог еще и в помине не было, и цена заграничных паспортов у нас не была еще понижена, когда число дачных мест в окрестностях самого Петербурга было очень ограничено и воздух в Екатерингофе еще не отравлялся нестерпимым смрадом костеобжигательного и других заводов, — тамошний великолепный парк был одним из излюбленных мест гулянья столичного населения, а 1 мая туда тянулся весь Петербург: кто побогаче — в собственном или наемном экипаже, кто победнее — на своих на двоих. В числе последних были также Гоголь и Данилевский, двигавшиеся вперед шаг за шагом среди густой разряженной толпы по главной аллее. И они были одеты по-праздничному: Гоголь в новом весеннем плаще и новом цилиндре, надвинутом довольно от-

важно на одно ухо; Данилевский же, еще два месяца назад принятый в школу гвардейских подпрапорщиков, — в новой юнкерской форме, которая шла как нельзя лучше к его стройной, молодцеватой фигуре, к его красивому, цветущему лицу. Замечая, как он привлекает взоры всех встречающихся им особ прекрасного пола, он весело поглядывал по сторонам, одним ухом только слушая, что ему рассказывал в это время приятель про недавно закрывшуюся выставку в Академии художеств.

— Грех, право, что ты туда ни разу не собрался! — говорил Гоголь. — Были ведь там картины и по твоей, брат, батальной части.

— Например?

— Например, одна чудеснейшая, душу возвышающая: партизан в Отечественную войну. Сидит он верхом на лафете орудия, весь в отрепьях, с перевязанным лицом, забрызганным кровью, запаленным от порохового дыма, но в правой руке у него отбитое французское знамя, а поза, я тебе скажу, выражение лица — поразительные! Без слов читаешь: вот они, истинные спасители отечества!

Данилевский окинул тщедушную фигуру приятеля сомнительным взглядом.

— А ты сам, видно, до сих пор тоже не отказался спасти отечество?

В глазах Гоголя вспыхнул вдохновенный, чуть не фанатичный огонь.

— Не отказался, нет! — с самоуверенною гордостью произнес он. — И на меня, сознаюсь, после всех моих неудач находило порою малодушие; но одно меня потом всегда поддерживало, ободряло: молитва и упование на Бога! После горячей молитвы во мне всякий раз укреплялась снова вера в себя, в свое призвание — не прожить бесследно...

— Все это прекрасно и похвально. Но в чем же твое призвание? Остановился ты уже на каком-нибудь занятии окончательно?

— Окончательно?.. — повторил Гоголь, и голос его упал на одну ноту. — Легко, брат, сказать! Ты знаешь ведь сказку про Ивана-царевича: поедешь прямо — будешь голоден и холоден, возьмешь направо — коня потеряешь, налево — сам пропадешь. И вот, стою я теперь этак на распутье: какую дорогу выбрать?

— Прямая дорога всего ближе: кратчайшее расстояние между двумя точками.

— По геометрии — да. Чего, кажется, прямее — путь в юстицию? Защищать угнетенных и невинных, карать злых и неправых — какая высокая цель! И направил я туда стопы, как ты знаешь, с рекомендацией от нашего «кибинцкого царька»; но сперва Кутузов меня по болезни не принял...

— А когда выздоровел, то был, кажется, очень мил, обещал тебя скоро пристроить?

— Из обещаний, голубушка, шубы не сошьешь. В то время не было еще получено известия о смерти Троцинского[6]. А теперь никакого толку не добьешься: ни два ни полтора.

— Но у тебя были ведь, кажется, еще к кому-то письма?

— Быть-то были, да результат все тот же — любезное отвиливание. Таким образом, от твоего прямого пути я испытал, по сказке, буквально только голод да холод: пока маменька не выслала опять денег, я целую неделю сидел без обеда.

— Так от чиновной карьеры ты вообще

уже отказался?

— От переписывания с утра до вечера бредней и глупостей господ столоначальников? Помилуй Бог! Да что я — чурбан или живой человек?

— Что же у тебя еще на примете?

— Очень многое: я умею шить, варить, расписывать стены альфреско...

— Ну, Ивану-царевичу заниматься портняжным, поварским или малярным делом, пожалуй, и не совсем пристало. Я спрашиваю тебя, брат, серьезно: что ты, наконец, думаешь предпринять?

— Пока я, говорю серьезно, еще ни на чем не остановился. От нечего делать хожу, как ты знаешь, в Академию художеств и копирую там с знаменитых мастеров. Кстати сказать: господа художники, с которыми я свел там знакомство, премилые все ребята! Но такими копиями не прокормишься. Пробовал было взяться за иконопись: не это ли мое настоящее призвание? Да нет! Слишком мало во мне еще этой строгости, этой святости, слишком много мирской суеты. Но однажды — я дал себе в том уже обет — непременно себе-

русь к святым местам, ко гробу Господню...

— Ну, ну, ну! Опять заханжил.

— Нет, Александр, это у меня не ханжество, а совершенно искренняя религиозность, так сказать, с материнским молоком.

— Против религиозности я и сам, конечно, ничего не имею. Но когда человек только вступил в жизнь, — помышлять уже о паломничестве, как хочешь, не дело.

— Согласен. Времени впереди довольно. И я изыскиваю всякие средства, чтобы хоть что-нибудь заработать и не быть в тягость родным. Теперь здесь в Петербурге мода на все малороссийское. Мне пришло в голову поставить на сцене одну из папенькиных малороссийских комедий, и я нарочно пишу теперь маменьке, чтобы выслала мне их сюда. Потом я чуть было ведь не укатил в чужие края в качестве компаньона одного больного.

— Вот как! Но ты мне ничего еще не говорил об этом?

— Не говорил, чтобы не сглазить. Да врага рода человеческого, как не раз уже, подшутил опять надо мною, помазал по губам!

— А из-за чего же у вас дело расстроилось?

— Из-за того, что больной мой не выждал, взял да и отправился без меня в места еще более отдаленные — в елисейские. Царство небесное! Мило... Но на руках у меня остается еще один, самый крупный козырь. Я хотел бы знать твое чистосердечное мнение, как друга: козырнуть ли мне уже или нет?

Данилевскому, однако, так и не было суждено познакомиться с загадочным козырем своего друга. Из боковой аллеи навстречу ему показались двое таких же хватов-юнкеров.

— А, Данилевский! Мы идем слушать цыган. А ты?

— И я, понятно, с вами. Но сперва позвольте, господа, представить вам моего друга детства.

Те снисходительно пожали руку невзрачному «другу детства».

— А мы сюда ведь водой на катере, — рассказывал Данилевскому один из товарищей-юнкеров, — на Неве сплошной ладожский лед, и мы пробивались между льдинами, как теперь вот между народом. Да что же мы, господа, толчемся на одном месте? Вперед! Справа по одному ры-ы-ы-сю-ю-ю!

— Корпус прямо! Голову выше! Ногу в каблук! — со смехом скомандовал в свою очередь второй юнкер.

— Не оттягивать дистанции-и-и! — подхватил в тон им Данилевский. — Раз-два! раз-два! раз-два!

И три бравых молодых воина с неудержимым натиском врезывались в разношерстную толпу, которая невольно перед ними наступалась и затем снова смыкалась, понемногу оттирая от них четвертого, более скромного путника.

Нагнал их Гоголь уже на большой открытой лужайке, где народное гулянье было в полном разгаре. Оркестр военных трубачей, карусели, Петрушки, медведи с козой-барбанщиком, ходячие панорамы, палатки с сладостями, громадные самовары и исполинские пивные бочки собрали тут тысячи алчущих «хлеба и зрелищ». В окружности же, под оголенными еще деревьями, на болотистой почве, сквозь которую кое-где лишь пробивалась первая травка, расположились живописные группы неприхотливых горожан и угощались взятою из города снедью и выпивкой. От об-

щего говора, крика и смеха, от разных музыкальных инструментов — барабанов и труб, шарманок и гармоник — в воздухе стоял невообразимый хаос звуков; но этот одуряющий гам и гул, казалось, никого не беспокоил, а, напротив, возбуждал во всех еще большее веселье. Для трех подпрапорщиков, впрочем, все это представляло мало интереса. На минутку только приковало их внимание семейство атлетов, которые, одетые в трико, рельефно выказывавшее их развитую мускульную систему, очень ловко и красиво выделывали всевозможные головоломные штуки, а в заключение составили живую пирамиду.

— Bravo, bravissimo! — одобрили в один голос наши юнкера.

Но когда тут окружающая толпа эхом завопила то же, один из них бросил к ногам акробатов серебряный рубль, и все трое двинулись далее.

— Завтра, братцы, в зубрилке проделаем то же самое, — заметил Данилевский.

— Само собою. Но слышите, какие ноты выводит мошенник? Воль-ты-ы-ы, ма-арш!

Навстречу им из открытых окон ресторана

долетали звуки несколько хоть разбитого, но сильного еще и приятного тенора. На крыльце их принял с низким поклоном половой. Помахивая салфеткой, он проводил их в ресторан, но на пороге через плечо обернулся к отставшему от них Гоголю:

— Пожалуйте, господин, и для вас найдется место. Тот, однако, остановился под окошком, в которое можно было вполне обозреть главное помещение ресторана. На деревянной эстраде стояло полукругом до десяти смуглолицых, чернобровых цыганок в ярких цветных нарядах, с картинно-прицепленными к одному плечу расшитыми золотом шальями, в серьгах с подвесками и монистах из мелких золотых монет.

Но покамест они еще бездействовали и служили только живописною гирляндой самому своему наибольшему — такому же черномазому цыгану, пожилому и на славу откормленному, еще очень видному, в нарядном белом кафтане с золотыми позументами. Пел он один, сопровождая свое пение притоптыванием то одной, то другой ногой, легким, но выразительным и преизящным подергивани-

ем плеч и локтей, и этот, так сказать, аккомпанемент телодвижений необычайно эффектно иллюстрировал задушевно-игривый напев.

Но что это он запел теперь? Никак ту самую полумалороссийскую-полуцыганскую песню, которую так чудесно распевала когда-то в Васильевке тетушка Катерина Ивановна и которую все, начиная от маменьки и кончая последней дворовой девчонкой, так охотно слушали? Да, да!

*Ой у поли долина,
А в долини калина, —*

залился певец; а подначальный женский хор звучно подхватил:

*— Бойденром, янтером,
Духрейдом, духтером!*

Они спелись, бесподобно спелись, надо честь отдать. Но что же это такое? Одна из цыганок внезапно вырвалась из полукруга и, плавно взмахивая руками, поплыла вокруг цыгана; за нею другая, за другою третья... Вот и все десять, подпевая, кружатся вокруг своего повелителя все быстрее и неистовее, с ка-

кими-то дикими взвизгиваниями и завываниями... Тьфу, безбожницы!

Гоголь отошел от окошка: та песня, которая в памяти его хранилась до сих пор неприкосновенно в числе других дорогих воспоминаний о милой Украине, была опошлена, осквернена.

Не будь только Данилевского... Да ведь он с своими новыми друзьями вернется в город водою на катере. Благодарю покорно! Хоть и не потонешь, так схватишь наверняка капитальный насморк.

А «старший козырь», которым Данилевский заинтересовался было? До козыря ли ему теперь! Вон он вместе с другими рукоплещет фараоновым дочерям, голосит тоже как сумасшедший: «Бис! бис!»

Прочь, прочь из этого омута!

И нелюдим наш опять у себя дома, на четвертом этаже — не в доме Трута у Кокушкина моста (откуда он съехал после того, как Данилевский переселился в юнкерскую школу), а неподалеку оттуда по Столярному переулку близ Большой Мещанской (теперь Казанская), в доме каретника Иохима[7]. Заботливый

Яким заварил уже для паныча чай, и, прихлебывая из стакана, Гоголь погрузился опять в размышления: козырнуть или нет?

Тут взор его скользнул в сторону письменного стола и слегка омрачился. На краю стола лежала старая подковка, которую он недавно поднял на мостовой «на счастье», а под подковою — начатое накануне письмо.

Эх! Первым делом надо дописать, поблагодарить маменьку за присланные деньги, а там уже мечтать о том, что и ей, и Данилевскому еще тайна.

Допив залпом стакан, он пересел к письменному столу и перечел написанное. После жалоб на столичную дороговизну следовал легкий намек на козырь:

«Как в этакоем случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добыть проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире? Вот я и решился...»

На этом письмо прерывалось. А ну, как план не осуществится? Маменька же, при ее неудержимой фантазии, вообразит, что все уже сделано, и на радостях поделится своею новостью со всем околотком. Нет! Лучше до

времени промолчать.

Обмакнув перо, он приписал:

«Но как много еще и от меня закрыто тайною и я с нетерпением желаю вздернуть таинственный покров, то в следующем письме извещу вас о удачах или не удачах. Теперь же расскажу вам слова два о Петербурге».

Перо, не запинаясь, побежало по бумаге. Из двух слов выросли десятки, из десятков сотни. Рассказав о Петербурге, нельзя было, понятно, обойти и майское гулянье в Екатерингофе.

«Все удовольствие состоит в том», — писал он, — что прогуливающиеся садятся в кареты, которых ряд тянется более нежели на 10 верст и притом так тесно, что лошадиные морды задней кареты дружески целуются с богато убранными длинными гайдуками. Эти кареты беспрестанно строятся полицейскими чиновниками и иногда приостанавливаются по целым часам для соблюдения порядка, и все это для того, чтобы объехать кругом Екатерингоф и возвратиться чинным порядком назад, не вставая из карет...

Теперь не поведать ли еще о народных по-

тех, о трех подпрапорщиках и цыганах? Боже упаси! Маменька от беспокойства целые ночи спать не будет. Лучше на этом и закончить.

«Я было направил смиренные стопы свои, но, обхваченный облаком пыли и едва дыша от тесноты, возвратился вспять».

— Возвратился вспять... — повторил он про себя вслух с глубоким вздохом и отложил в сторону перо.

Нет, писать решительно невозможно, когда этак в мозгу, рядом с тем, что надо писать, жужжит целый рой мыслей о чем-то другом, во сто раз более важном, — о вопросе, так сказать, жизни и смерти!

Рука его машинально потянулась за книжкой, лежавшей тут же на столе. То был номер журнала «Сын Отечества и Северный архив», именно N12, вышедший, как значилось на обложке, 23 марта. Книжка раскрылась сама собой на требуемой странице: видно, не раз уже была читана и перечитана. Что же стояло там? Да для обыкновенного читателя ничего особенного: стихи как стихи, октавы, озаглавленные «Италия»:

*Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоску-
ет...*

Но Гоголь, принявшись читать, не мог уже оторваться и дочел до последнего куплета:

*Земля любви и море чаровании!
Блистательный мирской пусты-
ни сад!
Тот сад, где в облаке мечтаний
Еще живут Рафаэль и Торкват!
Узрю ль тебя я, полный ожида-
ний?
Душа в лучах, и думы говорят,
Меня влечет и жжет твое дыха-
нье,
Я в небесах весь звук и трепета-
нье!..*

Кто же был автор этих вдохновенных стихов? Подписи внизу не значилось. Но достаточно было взглянуть теперь на молодого чтеца, который, пробегая те же строки чуть не в сотый раз, был «весь звук и трепетанье», чтобы угадать автора.

И никто ведь в целом мире до сей минуты не подозревает, что он — автор! Даже редак-

тор его в глаза не видел. О! Он устроил это чрезвычайно тонко, политично: отослал стихи без подписи по городской почте; но в письме к редактору выставил небывалую фамилию «Алов», показал вымышленный адрес у черта на куличках — за Нарвскою заставой: не угодно ли справиться на месте! Да чего спрашивать о стихах невиннейшего свойства? И вот они напечатаны даже без поправки.

А номер журнала он приобрел в собственность не менее практично: подписался на один месяц в библиотеке для чтения, причем вместе с платою внес и два рубля залога.

— А буде, не дай Бог, потеряется у меня ваша книга?

— Тогда вы ответите залогом.

— И только?

— Только.

— Претензий никаких?

— Никаких.

— Примем к сведению.

Так книга на законном основании была потеряна для библиотеки и ее читателей, а для него пропал залог: полюбовно рассчита-

лись.

Но то был лишь первый пробный опыт, мелкий козырек — стихотвореньице в пять куплетов; теперь же предстояло пустить в ход старший козырь — целую поэму в 18-ти картинах и с эпилогом — работу двух лет! Как тут быть? Псевдоним перед редакцией уже не отвертишься. А там, того гляди, еще и не примут: «Простите, но вещь для нас неподходящая». — «Разве так уж слаба?» — «О нет, в своем роде даже очень недурна; но нам нужны имена, имена! Вот когда ваше имя станет более известным...» — «Но как же ему стать известным, коли вы отказываетесь печатать?» — «Попробуйте в другом журнале: мы завалены рукописями наших постоянных сотрудников; ваша поэма для нас слишком, знаете, грузна. Не взыщите». Вот тут и поди! Держали рукопись у себя целую вечность, измяли, запачкали; а теперь — «не взыщите!» Сунешься в другую редакцию — там уж по захватанному виду тетради смекнут, что она раньше побывала в других руках, из приличия возьмут, пожалуй, для просмотра, но хорошенько и читать не станут: «Получите, не

взыщите!» Обегаяешь этак все редакции, и в конце концов все-таки поневоле сам издашь; а в журналах какой-нибудь злюка-рецензент еще пустить шпильку: читали, дескать, уж в рукописи, да забраковали. И ведь правда; возражать даже не приходится.

Гоголь вскочил со стула и, заложив руки за спину, зашагал из угла в угол.

Разве отнести к Смирдину? Он издает ведь поэмы Пушкина... Но потому-то как раз и не возьмется издать: «Будете Пушкиным — милости просим; а теперь не взыщите».

Нет! Чем бегать, кланяться какому-то толстосуму, который в стихах смыслит ровно столько же, как некое животное в апельсинах, лучше уж издать на свой страх. Талант так ли, сяк ли возьмет свое. Разослать по экземпляру всем корифеям: судите, рядите, господа! На досуге прочтут, расскажут другим братьям, что вот, мол, «новый талант проявился: читали? Прочтите». Глянь, кто-нибудь в газете, в журнале и откликнулся добрым словом — и дело в шляпе: публика требует уже расхваленную книгу, книга пошла в ход! О, талант возьмет свое!

Давно уже ночь; давно молодой поэт лежит в постели и потушил свечу. Но ему не спится: мысли его, как стая легкокрылых птичек, порхают по редакциям, по типографиям, по книжным магазинам...

Была не была! Издавать так издавать, для осторожности хоть под псевдонимом. Что еще, в самом деле, медлить? Рукопись переписана; снести в типографию, условиться... Вот разве что предпослать маленькое предисловие, чтобы наперед несколько склонить в свою пользу читателя?

Гоголь зажег опять свечу, накинул халат, въехал в туфли и расположился у письменного стола сочинять предисловие. Задача тоже! Сколько извел он тут четвертушек бумаги! Но наконец-то предисловие было готово и могло быть перебелено на обороте заглавной страницы. Было оно очень недлинно:

«Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только автора, не побудили его к тому. Это — произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинстве, ни о недостатках его и

предоставляя это просвещенной публике, скажем только то, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере, мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта».

Дописав, Гоголь еще раз перечел написанное и тонко усмехнулся. Кому в голову придет, что сам автор гордится так «созданием» своего «юного таланта»? Гадай, «просвещенная публика», разгадывай, кто сей юный талант! Ах, скорее бы утро!

Глава четвертая

КОЗЫРНУЛ

Поутру Яким, заглянув в обычное время в комнату барина, был немало удивлен, что тот еще спит. Кажись, напился чаю, лег вовремя, а вишь ты!..

Когда он, спустя час, снова просунул туда голову, то застал Гоголя уже вставшим, но молящимся в углу перед образом с неугасимой лампадой. Доброе дело! Как-никак, а маменька-то благочестию с малых лет приучила.

Яким осторожно притворил опять дверь; но когда он, несколько погодя, растворил ее в третий раз, в полной уже уверенности, что теперь-то, конечно, не помешает, то, к большому еще изумлению своему, увидел барина все там же на коленях кладущим земные поклоны. Э-э! Что-то неспроста!

А тут, когда, наконец, барин крикнул его, чтобы подал самовар, то так заторопил, что на-поди, точно на пожар:

— Живо, живо, друже милый! Поворачивайся! Экой тюлень, право!

— Да что у вас на уме, паньчу? — не утерпел спросить Яким, подавая барину плащ. — Молились сегодня что-то дуже усердно. Мабуть, затеваете що важное? Занюхали ковбасу в борщи?

— Занюхал, — был ответ. — Хочу козырнуть.

— Козырнуть?

— Да, и от этого козыря для меня все зависит: либо пан, либо пропал! Молись, брат, и ты за меня.

С разинутым ртом глядел Яким вслед: «Отвырвався, як заяц с конопель!» — стоял сам еще как пригвожденный на том же месте, когда паньч его сидел уже на дрожках-«гитаре» и погонял возницу, чтобы ехал скорее. Об адресе лучшего типографа Плюшара Гоголь узнал еще месяц назад. Коли печататься, то, понятно, в первоклассной типографии: товар лицом!

Самого Плюшара не оказалось дома: принял Гоголя фактор.

— «Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах. Сочинение В. Алова. Писано в 1827 году», — вполголоса прочел он на заглавной

странице поданной ему тетрадки, перевернул страницу, заглянул и в конец. — Да ведь рукопись ваша не была еще в цензуре?

— Нет.

— А без цензорской пометки, простите, мы не вправе приступить к печатанию.

— Цензор-то наверняка пропустит: содержание ничуть не вольнодумное.

— Почем знать, что усмотрит цензор: вон Красовский — так тот «вольный дух» даже из поваренной книги изгнал! Впрочем, условиться можно и до цензуры. Каким шрифтом будете печатать?

— А право, еще не знаю... Мне нравится самый мелкий шрифт...

— А я советовал бы вам взять шрифт покрупнее да формат поменьше: иначе книжечка ваша выйдет чересчур уж жидковата.

Перед молодым писателем развернулся огромный фолиант с образцами всевозможных шрифтов. У него и глаза разбежались. Как тут, ей-Богу, выбрать? После долгих колебаний выбор его остановился все-таки на избранном его шрифте — самом бисерном петите, формат же он принял предложенный

фактором — в двенадцатую долю листа.

— Останетесь довольны, — уверил фактор. — Покупатель только взглянет — не утерпит: «Экая ведь прелесть! Надо уж взять». И будет разбираться экземпляр за экземпляром, как свежие калачи, нарасхват. Не успеете оглянуться, как все уже разобраны, приступайте к новому изданию. А вы, господин Алов, сколько располагаете на первый раз печатать: целый завод или ползавода?

Гоголь был как в чаду. С ним трактовали самым деловым образом, как с заправским писателем, предрекали уже второе издание... Только что такое «завод»? Черт его знает!

— Все будет зависеть от того, во что обойдется издание, — уклонился он от прямого ответа. — Не можете ли вы сделать мне приблизительный расчет?

— Извольте. Бумага ваша или от нас?

— Положим, что от вас.

— В какую цену?

— Да так, видите ли, чтобы была не чересчур дорога и чтобы все-таки вид был.

— И такая найдется; хоть и не веленевая, а вроде как бы.

Карандаш фактора быстро вывел ряд цифр.

— Рублей этак в триста вам станет, если пустить ползавода в шестьсот экземпляров. Но я на вашем месте печатал бы полный завод. Весь расчет в бумаге.

— А уступки не будет? Фактор пожал плечами:

— У нас прификс!

— Но я печатаю в первый раз, и средства мои...

— Переговорите в самом господином Плюшаром; но и он вряд ли вам что уступит. Наша фирма не роняет своих цен. Однако ж печатать-то мы можем во всяком случае не ранее разрешения цензуры. Угодно, мы отошлем рукопись от себя; но тогда она, чего доброго, залежится до осени.

— До осени!

— Да-с, время ведь летнее; цензоры тоже по дачам...

— Так что же, Боже мой, делать?

— А сами попытайтесь снести к цензору на квартиру. Оно хоть и не в порядке, но цензор Срединович, например, авось, не откажется прочесть вне очереди до переезда на дачу.

— Срединович? — переспросил Гоголь. — Но мне, кажется, говорили, что это старый ворчун...

— Ворчун-то ворчун, но вы не очень пугайтесь: не всякая собака кусает, которая дает.

Предупреждение фактора было не лишне. Один внешний вид цензора, который сам открыл дверь Гоголю, мог хоть кого запугать.

«Ай да голова! — сказал себе Гоголь, увидев перед собою голову с ввалившимися глазами и щеками и всю опутанную не столько густым, сколько запущенным бором волос. — Точно ведь дворовые ребята играли ею в мяч, пока не забросили на чердак, и пролежала она там в самом дальнем углу Бог весть сколько лет и зим в пыли, с разным старым хламом, и крысы ее кругом обглодали...»

— Ну-с? — сухо спросил владелец этой головы, окидывая молодого посетителя исподлобья враждебно-подозрительным взглядом и не пропуская его далее прихожей.

— Я имею честь говорить с господином цензором Срединовичем?

— Имеете честь! Верно, опять с рукописью?

— Да, но с самой маленькою...

— С маленькою или большою — не в этом дело. Извольте обратиться по принадлежности в цензурный комитет.

— Но в типографии меня обнадежили, что вы будете столь милостивы...

— В типографии! В какой типографии? Уж не Плюшара ли?

— Именно Плюшара.

— Так я и знал! Вечно та же история! Они меня изведут... Надо положить этому предел!

— Но мне, господин цензор, уверяю вас, ужасно к спеху, и потому только я осмелился...

— Всем господам авторам одинаково к спеху!

— Но иному, согласитесь, все же может быть спешнее? Ваше превосходительство! У вас, верно, есть тоже матушка?

Цензор с недоумением уставился на вопрошающего.

— Что-о-о?

— Матушка у вас ведь есть?

— Странный вопрос! У кого же ее нет?

— Но жива еще, надеюсь? Живет даже, мо-

жет быть, с вами?

— Хоть бы и так; однако...

— Дай Бог ей долгого веку! Вы ее, конечно, любите, почитаете тоже, как подобает примерному сыну?

— Но, милостивый государь! — нетерпеливо перебил цензор. — Я решительно не понимаю...

— Сейчас поймете, ваше превосходительство, сию минуту! Поймете святые чувства, одушевляющие такого же сына. У меня тоже есть мать, отца — увы — я лишился еще четыре года назад, и я у нее одна надежда и опора. До сих пор, до окончания мною учебного курса, она имела от меня одни заботы; теперь я оперился и хотел бы представить ей в том наглядное доказательство, хотел бы показать, что могу обратить на себя внимание тысячи образованных людей, подобно... не говорю Пушкину, а все же...

Мрачные черты цензора осветились, как мимолетным лучом, снисходительной усмешкой.

— Лавры Мильтиада не дают спать Фемистоклу! — проговорил он. — Вы еще нигде не

печатались?

— Как же: в журналах... но пока без подписи.

— Зачем же без подписи? Одни искусственные цветы дождя боятся. Верно, стихишки?

— Да. И это вот у меня тоже стихотворная поэма.

— Так, так. Нет, кажется, на свете грамотного юноши, который не садился бы раз на Пегаса. Но из сотни этаких всадников один разве усидит в седле. Впрочем, если журналы действительно не отказывались вас печатать, то кое-какие задатки у вас, пожалуй, есть. Так и быть, сделаю для вас исключение. Рукопись с вами?

Гоголь подал рукопись и рассыпался в благодарностях.

— Хорошо, хорошо. А адрес ваш здесь показан?

— Да... то есть на обороте вот показано, у кого обо мне можно навести справку.

Цензор прочел написанное на обороте: «Об авторе справиться у Николая Васильевича Гоголя, по Столярному переулку, близ Большой

Мещанской, в доме Иохима».

— Но нам нужен ваш собственный адрес. Вас зовут, я вижу, Аловым?

Гоголь покраснел и замялся.

— Н-нет... это псевдоним.

— Что ж, свое имя вам слишком дорого для этих стихов, или стихи эти слишком хороши для вашего имени? Я надеюсь, что вы не скрываетесь от полиции?

Гоголь принужденно рассмеялся.

— О нет! Я готов назваться вам, если без того нельзя, но только вам одним. Меня зовут... Гоголем.

— Николаем Васильевичем?

— Николаем Васильевичем. Цензор опять улыбнулся.

— У вас же, значит, о вас и справиться? Улыбнулся и Гоголь.

— У меня: чего уж вернее? Так когда разрешите зайти?

— Зайдите в конце той недели.

— Ой, как долго! Ведь тетрабочка совсем, посмотрите, тоненькая, да еще стихами... нельзя ли завтра или хоть послезавтра?

— Так скоро не обещаюсь...

— Ну, так дня через три? Будьте великодушны! Вам даже прямой расчет: скорее развяжетесь с надоедливym человеком.

— Хорошо; но вперед говорю: не отвечаю.

— И за то несказанно благодарен! Но у меня к вашему превосходительству еще одна просьбица, маленькая, малюсенькая, ничуть для вас не обременительная.

— Что еще там? — с прежнею резкостью проворчал цензор, снова нахмурясь.

— Будьте добры передать вашей досточтимой матушке заочный поклон от неизвестного ей юноши, который имеет вдали, в глухой провинции, столь же любимую матушку, денно и нощно воссылающую также молитвы к Всевышнему о здоровье своего первенца.

Цензор зорко заглянул в глаза молодого провинциала: что он, издевается, что ли? Но выражение лица юноши было так простосердечно, что складки на лбу цензора сгладились, и он протянул наивному провинциалу руку.

— Передам, извольте. Вы, верно, малоросс?

— Малоросс.

— По всему видно. Сюжет у вас тоже из ма-

лороссийского быта?

— Нет, из немецкого.

— Что такое? Вы, может быть, побывали уже в Германии?

— Нет еще, но собирался...

— И изучили немцев по книгам? Этого мало, слишком мало. Удивляюсь я вам, право! Когда у вас под рукой такой богатый, нетронутый источник, как Малороссия с ее своеобразными обычаями, поверьями; только бы черпать... Впрочем, навязывать автору сюжеты не следует; пишите о том, что вам Бог на душу положит. До свиданья.

Что значит иной раз случайно брошенная, но плодотворная мысль! На доброй почве она, как семя, может взойти пышным колосом, а там, год-другой, глядь, засеется от него и целая нива. Брошенная цензором мысль пала на такую добрую почву.

«И в самом деле ведь, — рассуждал про себя по пути домой Гоголь, — чем немцы взяли перед хохлами? Клецками, что ли, и пивом? А где у них наши бесподобные „вареныки-побиденьки“, где малороссийское сало, которое во рту так и тает, что помадная конфетка, но в

котором они, дурни, даже вкуса не смыслят? А наливки вишневые, черносмородинные, сливовые, персиковые и черт знает еще какие? А парубки и дивчины с их звонкими песнями и раскатистым смехом, с их играми и колядками? А казацкая старина и всякая народная чертовщина? А степь раздольная, неоглядная, украинская лунная ночь, дивно-серебристая, теплая и мягкая, сказочно-волшебная?..»

Спавшие где-то в глубине памяти юноши чувства, свежие впечатления детства внезапно проснулись, оживились, и в тот же день неотосланное еще письмо к матери дополнилось следующими строками:

«Теперь вы, почтеннейшая маменька, мой добрый ангел-хранитель, теперь вас прошу сделать для меня величайшее из одолжений. Вы имеете тонкий наблюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и потому, я знаю, вы не откажете сообщить мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых са-

погов, с поименованием, как все это называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян; равным образом названия платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и верное платья, носимого до времен гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкви одну девку, одетую таким образом. Об этом можно будет расспросить старожилов: я думаю, Анна Матвеевна или Агафья Матвеевна[8] много знают кое-чего из давних лет. Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей. Об этом можно расспросить Демьяна (кажется, так его зовут? прозвание не помню), которого мы видели учредителем свадеб и который знал, по видимому, всевозможные поверья и обычаи. Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале и о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами... Все это будет для меня чрезвычайно занимательно... Еще прошу вас выслать мне две папенькины ма-

лороссийские комедии: „Овца-собака“ и „Роман и Параска“...

Просить ли также о деньгах на печатание „Ганца“? Всего два дня назад ведь пришел от нее денежный пакет, да с жалобой, что едва-едва собрала столько. Нет, зачем огорчать ее, бедную, преждевременно, без крайней нужды? Обождем до последней минуты; ну, а там, если не будет уже другого исхода... Посмотрим сперва, что скажет цензор.

Цензор разрешил зайти за рукописью через три дня: ровно через три дня в тот же час Гоголь был опять у его двери. Отворила ему на этот раз горничная.

— Вам барина? Они на службе в комитете.

— Но не оставил ли он для меня рукописи?

— А ваша фамилия? Гоголь назвался.

— Кажись, есть что-то. Сейчас вызову старую барыню.

Барыня оказалась не только старою, но археологическою древностью. Шаркая по полунога за ногу, она с видимым усилием приплелась до прихожей; дряхлая голова ее в чепце фасона времен Директории колыхалась на плечах, — того гляди, отвалится; но, благода-

ря чепцу, ее скомканный до безличия облик все-таки не пугал, подобно „чердачному“ облику ее сына. Когда же на вопрос ее, не от него ли, Гоголя, был передан ей сыном намеренный поклон он дал утвердительный ответ, поблекшие до цвета пергамента черты старушки озарились даже как будто розовым отблеском.

„Руина при закате солнца“, — сказал себе Гоголь и спросил вслух, не для него ли сверток, который был у нее в руках?

— Для вас, голубчик мой, для вас, — прошептала беззубым ртом старушка. — Господь благослови вас!

Странно, но это вполне, очевидно, чисто-сердечное благословение отходящего из мира существа тронуло Гоголя, и он как-то невольно, безотчетно приложился губами к сморщенной ручке, подававшей ему сверток.

— А не велел ли сын ваш передать мне что-нибудь на словах?

— Велел, родимый: чтобы вы взяли хорошего корректора. Непременно возьмите! Не всякому же далась грамота.

Кровь поднялась в щеки Гоголя.

— И больше ничего?

— Говорил-то он еще... Да нет, зачем, зачем! Ступайте с Богом!

— Нет, сударыня, теперь я убедительно прощу вас сказать все.

— Ох, ох! Коли вы сами того желаете... Он находит, что лучше бы вам вовсе не писать стихов, а коли все ж таки не можете устоять, то и впредь не подписывали бы под ними своего настоящего имени... Нет, не сердитесь, миленький, не сердитесь на него! — всполошилась добрая старушка, увидев, как все лицо молодого стихотворца перекосило. — Может, он на этот раз и ошибается. Уповайте на милосердие Божие...

Она продолжала еще что-то, но Гоголь без слов откланялся и был уже на лестнице.

И дернуло же умного человека давать дурацкие советы! Ну что смыслит он в поэзии, этаким книжный крот?

Печной горшок ему дороже:

Он пищу в нем себе варит.

Вот будет напечатано, так посмотрим, что скажут истинные ценители! А теперь к Плюшару.

На этот раз Плюшар оказался на месте. Чернявый, вертлявый француз принял Гоголя как старинного заказчика. Однако на требование что-нибудь сбавить он отвечал вежливым, но решительным отказом.

— Monsieur напрасно жалеет своих денег, — убедительно говорил он, без запинки мешая русскую речь с французского. — Во всем Петербурге, а стало быть, и во всей России никто вам так не напечатает. А хорошо отпечатанная книга — что хорошо поданное блюдо: благодаря уже своей вкусной сервировке возбудит хоть у кого аппетит.

— А как насчет уплаты? Я ожидаю еще денег из деревни...

— О! На этот счет monsieur может не беспокоиться. Печатание и брошюровка возьмут все-таки месяц времени: тогда и рассчитаемся. А корректуру держать будет сам monsieur?

— Корректуру?.. — повторил Гоголь и невольно поморщился: ему припомнился совет „книжного крота“. — Корректор у вас ведь, вероятно, надежный?

— Чего лучше: студент-словесник.

— В таком случае присылайте мне одну

только последнюю корректуру — так, знаете, для очистки совести.

— Как прикажет monsieur. Значит, рукопись можно сдать и в набор?

— Да, попрошу вас.

Так рукопись стала набираться, и только третья корректура каждого листа присылалась автору „для очистки совести“. Но так же совесть не давала ему еще писать матери о высылке необходимых для расплаты с типографией трехсот рублей. Наконец, однако, скрепя сердце пришлось взяться за перо.

„Я принужден снова просить у вас, добрая, великодушная моя маменька, вспомоществования. Чувствую, что в это время это будет почти невозможно вам, но всеми силами постараюсь не докучать вам более. Дайте только мне еще несколько времени укорениться здесь; тогда надеюсь как-нибудь зажить своим состоянием. Денег мне необходимо нужно теперь 300 рублей“.

Сознавай он в самом деле, как огорчат его мать эти строки, каких хлопот и лишений будет стоить ей добыть для него требуемую сумму, — как знать, не отказался ли бы он от са-

мого издания книжки? Но узнал он о том только из ее ответного письма, к которому были уже приложены просимые триста рублей. Ужели же тотчас отослать их обратно? Книжка ведь уже отпечатана: рассчитаться с мосье Плюшаром, так ли, сяк ли, надо. Но скоро, скоро маменька будет утешена, вознаграждена за все сторицей...

И он рассчитался с Плюшаром до копейки, поручив ему развезти книжки по книжным магазинам; несколько экземпляров только он взял домой для рассылки от себя по редакциям журналов и самым известным литераторам, адреса которых он узнал в магазине Смирдина. К немалой его досаде, Пушкин был в отлучке в действующей армии на Кавказе. Благо хоть Жуковский и Плетнев, эти два покровителя начинающих талантов, были еще в Петербурге.

— А пани, чи то барыне в Васильевку, сколько штук мы отправим? — спросил Яким, помогавший барину при упаковке.

— Пока ни одной.

— Как ни одной!

— Есть, знаешь, поговорка: „сиди под ку-

стом, позакрывшись листом“, и другая: „жди у моря погодки“.

— Да чего ждать-то?

— Погодки.

Яким головой покачал: чудит, ей-Богу, барин! Но вскоре барин с своей книжкой так зачудил, что окончательно сбил его с толку.

Глава пятая

АУТОДАФЕ

Три недели ждал он у моря погодки — ни дуновенья! В газетах и журналах ни единого звука: аппетитная, как воздушное пирожное, книжка заманчиво красуется на выставках книжных магазинов, а дура-публика проходит себе мимо, глазами только хлопает! В который раз уж вот прогулялся он к Казанскому мосту справиться у Оленина — и все тот же безотрадный ответ:

— Ни одного экземпляра.

И побрел он далее до Полицейского моста, а здесь машинально завернул по берегу Мойки и остановился не ранее, как перед магазином Смиридина, у Синего моста. Зайти или нет? Но приказчик заметил уже его в открытую дверь; нельзя было не войти.

— Что нового? Приказчик повел плечами:

— Вы насчет вашей книжки? Намедни ведь я вам докладывал, что летнее время — самое глухое, покупателей и на Пушкина не найдется, не токмо...

— Да я вовсе не о том! Вообще нет ли чего новенького в литературе?

— А вот обратитесь к Петру Александровичу: первый источник.

Приказчик кивнул головой в сторону хозяйской конторки в глубине магазина. На своем обычном месте за конторкой восседал на высоком табурете сам Смиридин; перед ним же стоял высокого роста, широкоплечий и плотный господин, насколько можно было рассмотреть издали в профиль его черты лица, — средних лет.

— Кто это? — вполголоса переспросил Гоголь и весь встрепенулся. — Не Плетнев ли?

— А то кто же? Вы его разве еще не знаете? Петра Александровича все литераторы в Петербурге знают, да и он-то всех и все знает...

Гоголь вдоль прилавка с разложенными книгами стал помаленьку подбираться к конторке, по пути перелистывая то ту, то другую книгу. Приблизившись на десять шагов, он как бы погрузился в содержание одной книги; но ухо ловило каждое слово беседующих.

— Да, волка как ни корми, а он все в лес глядит, — говорил Смирдин. — Дивлюсь я,

право, нашим москвичам: на прощанье ему поднесли еще золотой кубок с своими именами!

— Великому таланту нельзя не отдать чести, будь он свой русский или враждебной нам национальности, — отвечал Плетнев, отвечал таким тихим, мягким голосом, какого никак нельзя было подозревать в этом могучем теле. — Впрочем, нашего Александра Сергеевича Мицкевич, кажется, искренне любит — кто его не любит! — и ставит как поэта чуть не выше себя самого. Вы слышали ведь, как они столкнулись раз на узком тротуаре?

— Нет, не помню что-то.

— Пушкин почтительно снял шляпу и посторонился: «С дороги двойка: туз идет!» Мицкевич же в ответ ему: «Козырная двойка туза бьет».

— Славный ответ! — рассмеялся Смирдин; тихо засмеялся за ним и Плетнев.

«Погодите, други мои! — сказал про себя Гоголь. — Придет время, — и про некоего третьего станете этак анекдоты пересказывать».

— А где в настоящее время Пушкин? — спросил Смирдин.

— Да надо думать — с нашими войсками в Эрзеруме, — отвечал Плетнев. — Последнюю восточку о себе — прелестнейшие стихи, от которых так и веет Кавказом, — он прислал мне с берегов Терека.

— А вы их не знаете наизусть? Память у вас, Петр Александрович, на стихи ведь самая счастливая.

— Эти-то довольно длинны... Конец, впрочем, пожалуй, знаю:

*... И нищий наездник таится в
ущелье,
Где Терек играет в свирепом весе-
лье;
Играет и воеет, как зверь моло-
дой,
Завидевший пищу из клетки же-
лезной;
И бьется о берег в вражде беспо-
лезной,
И лижет утесы голодной вол-
ной...
Вотще! Нет ни пищи ему, ни от-
рады:
Теснят его грозно немые грома-
ды.*

Ну кто еще у нас, скажите, в состоянии написать подобную картину? — с умилением заключил Плетнев.

— Художник, что и говорить, — согласился Смирдин. — Но у нас нарождаются уже новые таланты.

Добавил он последнюю фразу тоном не столько ироническим, сколько добродушно-игривым, так что Гоголь невольно поднял голову. Так и есть! Злодей-книжнопродавец, с улыбочкой поглядывая в его сторону, берет с полки и подает Плетневу маленькую, тоненькую книжонку, — очевидно, его «Ганца».

— Да вы вот о ком! — сказал Плетнев. — Вещица эта мне уже известна. Молодой автор был столь внимателен, что доставил мне экземпляр своей поэмы. Но оригинального в ней, сказать между нами, очень мало.

— Он подражает, должно быть, тоже Пушкину?

— Как вам сказать? Кое-что, точно, навеяно будто «Онегиным»: есть у него и своя Татьяна с няней, и сон Татьяны, и письмо Онегина... Но в общем он взял себе в образец немца Фосса и именно идиллию его «Луиза». Дей-

ствие происходит точно так же в Германии; даже имя героини — Луиза; у Фосса она — дочь пастора, у Алова — пасторская внучка. Там и здесь кушают очень вкусно, там и здесь кончается свадьбой...

— Так что книге господина Алова вы не предрекаете особенного сбыта?

— Это бы еще не беда: есть книги, которые покупаются, да не читаются; есть другие, которые читаются, да не покупаются; но есть и такие, которые только пишутся, но не покупаются и не читаются.

— И к этому-то третьему разряду вы относите «Ганца Кюхельгартена»?

— Может быть, я и ошибаюсь, — продолжал все так же мягко Плетнев. — Дай Бог! Всякому такому начинающему автору впереди, конечно, мерещится слава. Но всякого из них я глубоко сожалею и хотел бы предостеречь словами Карамзина: «Слава, подобно розе любви, имеет свое терние, свои обманы и муки. Многие ли бывали ею счастливы? Первый звук ее возбуждает гидру зависти и зловония, которые будут шипеть до гробовой доски и на самую могилу вашу излиют яд свой». И

Алову не избежать той же участи: журнальные людоеды, боюсь, съедят живьем беднягу.

— А за него разве уже принялись?

— Принялись — в «Московском Телеграфе», и, по-моему, даже чересчур жестоко.

— Но Полевой, кажется, человек умный, европейски цивилизованный...

— Да, людоед, умеющий уже обходиться с помощью ножа и вилки.

В глазах у Гоголя потемнело, руки и ноги у него похолодели, колени задрожали. Он должен был ухватиться за край прилавка и, сам не зная как, выбрался вон из магазина. Четверть часа спустя он в общей зале Публичной библиотеки отыскивал в последнем номере «Московского Телеграфа» рецензию «цивилизованного людоеда». Каково же ему было прочесть следующее о своем дорогом «Ганце»:

«Издатель сей книжки говорит, что сочинение г. Алова не было назначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел автор не издавать своей идиллии. Достоинство следующих стихов укажет на одну

их сих причин:

*Мне лютые дела не новость;
Но демона отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя
За остальную жизни повесть...*

Заплата таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом».

Зашипела гидра! О славе пока, кончено, уже и не мечтай. Да и что в ней, в самом деле? Не говорится ли и в его «Ганце»:

*Лучистой, дальнею звездой
Его влекла, тянула слава,
Но ложен чад ее густой,
Горька блестящая отрав...*

А чем, например, этот куплет нехорош? В том же «Московском Телеграфе» попадают стихи куда слабее. Погодим, что скажут другие

С отравленным сердцем, но высоко поднятою головой непризнанный автор отправился восвояси. Здесь, при входе его в комнату, навстречу ему вскочил со стула краснощекий молодчик.

— Вот и мы в вашей Северной Пальмире!

— Красненький! — успел только произнести Гоголь и очутился уже в объятиях неожиданного гостя.

То был Прокопович, давнишний его нежинский если не друг, то приятель и самый верный пособник его в товарищеских спектаклях. Будучи классом ниже Гоголя, он теперь только окончил курс «гимназии высших наук» князя Безбородко и тотчас покати́л также попытать счастья в Северную Пальмиру.

— Вот и мы! — повторял он, потирая свои мягкие, влажные руки и в третий или четвертый раз от полноты чувств прижимая к груди Гоголя. — Ну, что, дружище, как тебе здесь живется? Где пристроился? Часто выдаешься с Данилевским?

Радость свидания так и светилась в его голубых, на выкате, бесхитростных глазах, во всем его свежем, лунообразном облике. Не дослушав, что отвечал ему приятель, он подскочил вдруг к своему раскрытому на полу чемодану и, порывшись, с торжествующим видом достал со дна его небольшую книжку.

— Привет с Украины — Котлярвеского «Энеида»! В Москве, брат, один землячок хотел было насильно отобрать у меня, но я отво- евал для тебя.

— Так ты ехал через Москву?

— Понятное дело! Как же было не посмотре- ть на царь-колокол и на царь-пушку, на Ивана Великого и на Михаила Погодина — пока еще не столь великого? Последний повез меня, разумеется, тотчас в Симонов мона- стырь поклониться праху бедного Веневити- нова. Прекрасную эпитафию начертал на его надгробном камне старик Дмитриев:

Здесь юноша лежит под хладною доской,
Над нею роза дышит,
А старость дряхлою рукой
Ему надгробье пишет.

Ну, да ведь кому жить, кому помирать. Помнишь ведь нашего милого Ландражина? «Le roi est mort — vive le roi!» [9] А мы с тобой можем воскликнуть: „Умер поэт — да здрав- ствует поэт!“ Яким твой выдал мне сейчас под секретом, что ты напечатал уже целую книжку стихов...

— Вот вздор-то! Чепуха! А ты и поверил?

Ха-ха-ха-ха! — рассмеялся Гоголь, но смех его вышел не совсем естествен. — Дурень этот видел, что мне приносят из типографии какие-то печатные листы, и с великого ума заключил, что писание это мое.

— А то чье же?

— Да просто корректура, которую я веду для типографии; платят хоть гроши, но досуга у меня ровно двадцать четыре часа в сутки.

— Но зачем же ты покраснел? Ну, ну, ладно, не буду. А знаешь ли, Яновский, как я этак погляжу на тебя, ты вовсе мне ведь не нравишься.

— Яновского, брат, уже нет — ау! Есть только Гоголь. Чем же я тебе не нравлюсь?

— Всем видом твоим: и как-то осунулся, и покашливаешь, и завел себе на лице какие-то бутоны...

Гоголь горько усмехнулся.

— Лето — ну, и цвету! Доктор уверяет, что это от золотухи, — продолжал он, переходя на серьезный тон. — Но я так полагаю, что вообще от слабой комплекции. Вон у стены видишь стул о трех ножках.

— Ну?

— Сколько времени стоит он уже так, при-
слонясь, а стоять твердо не научился. Так вот
и я: простудился весною — и все не могу опра-
виться: в горле скребет, грудь ломит, на лице
эти украшения...

— Да ты еще и мальчиком ведь был ху-
денький, хиленький. Как сейчас помню, как
тебя родители привезли из деревни в гимна-
зию. Смотрю: что такое? Раскутывают ка-
кую-то маленькую фигурку из целой кучи
одеял, платков, мехов, точно куколку из ваты.
Раскутали — у меня, признаться, даже сердце
сжалось: ах, бедненький! Вокруг глаз веки
вздутые и красные, лицо все в пятнах, уши
повязаны пестрым платком...

— Да, я страдал тогда и ушами. Натура, го-
ворю тебе, подлая.

— Так тем нужнее тебе, голубчик, принять
радикальные меры, чтобы поправить изъяны
натуры.

— Доктор тоже советует мне съездить в
Любек: морским воздухом-де заживить грудь
и горло, а купанием в Травемюнде — кожу. О,
как охотно я последовал бы его совету! Сего-
дня же, сию минуту сел бы на пароход, чтобы

убраться из этого гнилого болота и никогда уже не возвращаться!

Слова эти вырвались у Гоголя чуть не воплем отчаяния, так что и Прокопович, при всей своей простоте, понял, что приятель его страдает не только телом, но и духом. Как узнать его тайну, чтобы помочь страдальцу? Не лучше ли спросить прямо?

— А знаешь что, Николай Васильевич: мне сдается, что к тебе за воротник забралась букашка.

Гоголь, шагавший из угла в угол, в недоумении остановился перед приятелем.

— Букашка? Какая букашка?

— А почему я знаю! Я сам хотел спросить тебя. В деревне тебе, без сомнения, случалось гулять в обществе по полям, по лугам?

— Сколько раз.

— Так вот; усядешься ты, бывало, с другими отдохнуть на траву, болтаешь, шутишь; как вдруг — о ужас! — чувствуешь, что у тебя по спине ползет что-то. Ты продолжаешь говорить, приятно улыбаться, но в то же время мысленно невольно следишь за путешествием непрошеного гостя по твоему телу, и нет у

тебя уже другой мысли, как бы отделаться от этой мелкой, но ненавистной нечисти...

— И удрать для этого хоть в Любек? — досказал Гоголь. — Но ни тебе, любезный, ни кому другому до моей букашки нет дела, и отряхаться от нее публично я никогда не буду. Так и знай!

— Да я, брат, из одной дружбы...

— Настоящая дружба не залезает лапой куда не просят, хотя бы и за букашкой.

— Ну, хорошо, хорошо, не буду. Поселившись вместе с Гоголем, Прокопович имел теперь полную возможность во всякое время дня наблюдать за ним и с каждым днем все более убеждался, что по спине его друга, действительно, ползет букашка. Но и Якиму, видно, была дана барином на этот счет строгая инструкция, потому что на все расспросы у него был один ответ: знать не знаю, ведать не ведаю.

Сам Гоголь между тем сделался ежедневным посетителем знакомой кофейни и тщательно просматривал все получавшиеся там петербургские и московские газеты: не отзовется ли еще кто об его букашке — „Ганце“? И

вот 20 июля в „Северной Пчеле“ ему тотчас бросилась на глаза следующая библиографическая заметка:

„Идиллия сия состоит из осьмнадцати картин. В сочинителе заметно воображение и способность писать (со временем) хорошие стихи, ибо издатели говорят, что „это произведение его восемнадцатилетней юности“; но скажем откровенно: сии господа издатели напрасно „гордятся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта“. В „Ганце Кюхельгартене“ столь много несообразностей, картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэтических украшениях, в слове и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом. Не лучше ли было б дожидаться от сочинителя чего-нибудь более зрелого, обдуманного и обработанного?“

— Господин! Что вы делаете? — раздался над его ухом испуганный окрик полового.

Тут только Гоголь заметил, что судорожно мял и комкал газету. Пробормотав что-то в

свое оправдание, он выпустил газету из рук и выбежал вон на улицу.

Весь Петербург, вся Россия прочитает ведь эту ядовитую отповедь; многие, конечно, и теперь уже прочли. Вон и прохожие смотрят на него как-то странно, точно им кто подсказал, что вот, мол, автор чудовищной поэмы! Но откуда же им знать-то? Даже книгопродавцам он, к счастью, не открыл своего настоящего имени. Теперь схоронить бы лишь концы. Но как? Дома — Прокопович, а ему признаться в своем позоре невозможно... Да! Так всего лучше.

Взбежав впопыхах на свой четвертый этаж, он, не снимая плаща, достал из комода пачку комиссионных квитанций книжных магазинов и украдкой сунул в карман, чтобы не заметил Прокопович, сидевший тут же на диване с книгой.

— Ты что же это, брат, не раздеваешься? — спросил Прокопович, поднимая голову. — Уходишь снова?

— Да...

— Так я, пожалуй, прогуляюсь с тобою; не мешает тоже проветриться.

— Но я по делу...

— Ну что ж, я провожу тебя; может быть, могу быть тебе еще полезен.

— Нет, нет, спасибо... Не такое дело... Я возьму Якима... Мы поедем на извозчике... отсюда далеко...

— Но отчего, скажи, я не могу заменить Якима? Я всегда рад услужить тебе, дружище. В чем дело?

Вот привязался! Чтобы тебе, дружище, провалиться с твоими услугами!

— Объяснять долго, — отвечал Гоголь вслух, — да и дело для тебя вовсе неинтересное. Эй, Якиме!

— Эге!

— Бери картуз и иди со мной.

От Столярного переулка до Банковского моста рукой подать. Здесь был нанят на часы ломовой извозчик.

— Да что мы, опять съезжаем? — проворчал Яким.

— Нет, мы объедем всех книжников и соберем все мои книги, — объяснил барин. — Но об этом ни Николаю Яковлевичу, ни кому другому ни гугу. Понимаешь?

— Понимаю... а все ж таки ничего не понимаю!

— И нечего тебе понимать. Не для Грицы паляница. Начиная с Смирдина и кончая Глазуновым, они объездили всех книжников, которые не без удивления, но, по-видимому, и без сожаления возвращали все показанные в квитанциях экземпляры злосчастливого „Ганца“. Яким только головой качал, укладывая пачку к пачке на подводу.

— А теперечки куды?

— Сейчас узнаешь.

Уже прежде как-то в своих „географических“ странствиях по столице Гоголь заметил в одном глухом переулке надпись над подъездом „Номера“. Перед этим-то подъездом остановил он свой транспорт, сам поднялся наверх и нанял номер, а затем приказал Якиму тащить туда книги. За отсутствием в летнюю пору постояльцев, коридорный охотно помог Якиму при этой операции.

— Прикажете самовар? — спросил он Гоголя, когда была внесена последняя пачка.

— Ничего мне не нужно, кроме покоя! На, получи и проваливай!

Гоголь сунул ему в руку пятиалтынный и захлопнул дверь перед его носом. Яким стоял посреди комнаты, отдуваясь от перенесенных трудов, и с недоумением следил глазами за баринном: что-то у него на уме? Вишь ты, достал из угла кочергу, открыл дверку печки и шарит внутри.

— Открой-ка, братику, трубу.

Яким вместо того только рот разинул.

— Я не о твоей трубе говорю, а о печной... Вьюшку вынь, слышишь?

— Да на что, паночку? Невже в такую духоту топить еще станем? Да и дров-то не положено...

— И без них затопим. Делай, что приказывают, и не мудри, пожалуйста.

Яким вынул вьюшку. Барин же тем временем засветил свечу, поставил ее на пол около открытой печки, пододвинул себе стул и уселся с кочергой в руках.

— Ну, а теперь развязывай-ка пачки.

— Царица Небесная! Что вы, паночку, затеваете?

— Аутодафе.

— Это что же такое?

— А сейчас увидишь. Развязывай же, говорят тебе, да поближе сюда пододвинь. Ну, скоро ли?

Взяв верхнюю книжку из развязанной пачки, Гоголь разодрал ее по листам, зажег последние на огне и бросил в глубину печки, после чего принялся точно так же за следующую книжку.

Яким, не без основания вообразив, что бедный барин спятил с ума, хотел было удержать его за руку. Но Гоголь отстранил его и злобно рассмеялся.

— Слыхал ты, братику, или нет, что в былые времена еретиков, да и книги их еретические, на кострах сжигали?

— Где слыхать-то!

— Так этакая-то штука и называется аутодафе.

— Каждый дидько в свою дудку грае! Ой, лихо! А ваши книжки хйба тоже еретические?

Гоголь снова усмехнулся.

— Да, ересь поэтическая...

— Какая там ни будь, а коли ересь, так, знамо, лучше сжечь! Ах, ах, до чего мы дожи-

ли! Да нельзя ли хошь в мелочную лавочку сбыть?..

— Чтобы там сельди завертывали? Удружил! Для этого моя ересь все-таки слишком хороша. Однако на вот кочергу: можешь тоже подсоблять.

И стал Яким подсоблять барину: один рвал книжки и предавал их огню, другой поворачивал вспыхивавшие листы кочергою, чтобы лучше горели, и в какой-нибудь час времени вся поэтическая ересь, потребовавшая на свое создание целых два года, в количестве без малого шестьсот экземпляров в искрах и дыме вылетела буквально в трубу.

О, если бы чудом каким-нибудь с неба свалился крупный, тысячный куш, чтобы на первом же иностранном пароходе умчаться на край света! Ведь совершались же чудеса в былое время? Отчего бы не быть им и в девятнадцатом веке?

Глава шестая БЕЗ ОГЛЯДКИ

— **А** к тебе, брат, из почтамта пришла по-
вестка и на тысячную сумму.

Таковыми словами встретил Гоголя дома Прокопович. У того и руки опустились. Вот оно, чудо-то!

— Что с тобой, Николай Васильевич? — озабоченно спросил Прокопович, видя, что приятель его совсем изменился в лице и стоит как вкопанный.

Тут только Гоголь очнулся и быстро подошел к столу, на котором лежала повестка.

Верно: «Денежный пакет на 1450 рублей». Да на его ли имя? Как же: «Николаю Васильевичу Гоголю-Яновскому».

— От кого бы это могло быть? — заговорил опять Прокопович, вслух произнося вопрос, который мысленно задал себе уже сам Гоголь. — Ты, может быть, писал своей матушке о своей болезни, просил выслать тебе на поездку в Любек?

А что же? Хоть он и не просил именно на

это денег, но маменька знает о совете докторов и по своей безграничной доброте достала для него где-нибудь... А если деньги не от нее? От кого бы ни были, разве они могут иметь теперь какое-нибудь иное назначение?

— Писал, да, — отвечал он и взглянул на часы. Экая ведь досада! Уже пятый час, почтамт закрыт; придется ждать до завтра.

Давно не проводил он такой беспокойной ночи; с восходом солнца он не мог уже сомкнуть глаз, а в половине восьмого был на ногах. Яким едва успел уговорить барина выпить перед уходом хоть стакан чаю. Второпях он обжег себе горячим чаем и глотку, и внутренности. Ну, да черт с ними! Почтамт ведь открывается уже в восемь.

Прокопович оказался прав: денежный пакет был, в самом деле, от матери Гоголя, но — увы! — не на поездку его в Любек. Васильевка ее была заложена в ссудной казне опекунского совета, и все высланные 1450 рублей она поручала сыну внести туда в уплату срочных процентов, горько жалуясь при этом, что только сосед Борковский согласился ссудить ее такую крупною суммой, но тут же отобрал

у нею большой медный куб из винокурни...

Эх, маменька, маменька! Куб кубом, а ведь и сын-то единственный, будущая опора в жизни, чего-нибудь да стоит? Остаться в Петербурге разве не то же, что дать свезти себя прямо на Волково? Протянешь еще, пожалуй, месяц-другой, а там Прокопович отправит к ней лаконичную, но громовую цидулу: «С душевным прискорбием имею честь уведомить, что любезнейший сын ваш Николай волею Божию...» и т. д. И весть эта убьет несчастную, наверное убьет! Пусть она читает ему чуть не в каждом письме «мораль», да ведь все от безмерной родительской любви. Вот и теперь даже к этому письму приложила целый ворох материалов о малороссийских обычаях и поверьях, которые он просил собрать для него. Каких хлопот ей это, верно, стоило! Ах, маменька, милая, бесценная моя! Что мне делать, чтобы не слишком огорчить ее да и сохранить ей сына? Творец Небесный, просвети Ты меня!

Терзаясь таким образом, он безотчетно шел себе вперед да вперед — сперва по Почтамтской, потом по Малой Морской, пока не

уперся в Невский. Здесь повернул он в сторону Казанского собора, а увидев его перед собою, как бы подталкиваемый невидимой силой, поднялся на паперть и вошел в собор. На улице, вне стен соборных, слепило и жгло июльское солнце, гудел и грохотал многолюдный город. Здесь вошедшего разом охватило торжественным безмолвием, прохладным полумраком, словно он вступил в совершенно иной, неземной мир. И в самом отдаленном притворе он опустился на колени, чтобы припасть пылающим лбом к холодному каменному полу...

Когда он, полчаса спустя, вышел опять из собора, на душе у него не то чтобы полегчало, но было зловеще-спокойно, как у больного, приговоренного врачами к смерти: что пользы волноваться? По крайней мере, чист перед людьми и перед Богом. Сейчас снесет всю сумму в ссудную казну, а там будь что будет! Который час-то? Только девять. Никого из господ чиновников там, конечно, еще не застанешь. Пройтись разве покамест по набережной Невы? Немножко хоть освежиться от этого несносного зноя...

Со взморья, действительно, веял преприятный, живительный ветерок, и Гоголь впивал его полною грудью. Точно ведь здоровье глотками пьешь! Вот бы куда, в море, за море!

И алчущий взор его устремился вниз по Неве ко взморью. А на том берегу, за Академией художеств, виднелся целый лес корабельных мачт и дымящихся пароводных труб. Не иностранные ли то суда? Эх-эх-эх! А любопытно все же взглянуть, на котором из них он укатил бы в Любек?

И вот он уже на мосту, вот и на Васильевском за академией, против 10-й линии. Вблизи, отдельно взятые, суда эти на вид как-то менее надежны и не так уж привлекательны, за исключением разве вот этого, пузатого, массивного, своею солидностью да и опрятностью внушающего невольное доверие.

— Куда идет этот пароход? — обратился Гоголь к одному из судорабочих, которые гуськом, один за другим, перетаскивали туда с берега хлебные кули.

— Nach Liibeck, mein Herr[10], - отозвался за рабочего мужчина с загорелым, обветрившимся лицом, очевидно капитан, наблюдав-

ший на палубе за погрузкой и производивший своей коренастой фигурой, своим решительным видом столь же внушительное впечатление, как и его пароход. — Дней через пять снимемся уже с якоря. Если вы собираетесь за границу, то лучшей okazji вам не найти. Милости просим.

Благодаря усердному чтению немецких авторов в последний год своего пребывания в нежинской гимназии, Гоголь не только изрядно понимал обыкновенную немецкую речь, но и сам мог объясняться с грехом пополам с немцами.

— Мне и то представлялся случай ехать за границу, — отвечал он со вздохом. — Но дело расстроилось...

— Ну, может быть, еще и устроится. Перевезу я вас не дороже других; а удобства, комфорт — даже в каюте второго класса. Или вы взяли бы место в первом?

— Нет, в первом ни в каком случае.

— Ну что ж, и во втором прекрасно, да и общество более обходительное. Не угодно ли самим осмотреть каюту?

— Благодарю вас; но так как я все равно не

поеду...

— Что ж такое? Посмотрите — и только. За погляденье мы ничего не берем. В другой раз поедете; я ведь здесь в Петербурге не в первый раз и не в последний.

Как было устоять против такого любезного приглашения? Ведь, в самом деле, можно теперь и не ехать, а вперед приглядеть себе на всякий случай хорошенькое, уютное местечко...

Перебравшись по сходням на пароход, Гоголь следом за капитаном спустился по трапу в каюту второго класса.

— Вот, извольте видеть, общая каюта, — объяснял капитан. — Тут вы встречаетесь, знакомитесь с другими пассажирами, людьми всяких наций. Человеку молодому, как вы, это должно быть даже поучительно для изучения нравов.

— Гм... А где же отдельные каюты?

— Кают отдельных нет, но есть отдельные койки за занавесками, что, в сущности, одно и то же. Вот, не угодно ли взглянуть: задернетесь этак занавеской — и никто вас не видит, не беспокоит. Верхние койки имеют еще то

преимущество, что у каждой свой иллюминатор. — Капитан указал на круглое оконце в борте судна. — Свету довольно; можете читать или мечтать — *ad libitum*[11]. Матрац мягкий, белье чистое. Хотите свежим воздухом подышать — откроете иллюминатор, как форточку в спальне. Мало вам этого — подниметесь на палубу, гуляете там на просторе хоть до зари. Ночи теперь в июле ведь теплые, южные, а морской воздух — тот же жизненный эликсир, здоровее даже воздуха Альп. Цвет лица у вас, *mein lieber Herr*, простите, совсем нездоровый. Поговорите с докторами: они наверняка присоветуют вам этакую поездку морем.

— Доктор мой и то рекомендовал мне морские купанья в Травемюнде...

— Ну, вот! Что же я говорю? А от Любека до Травемюнде рукой подать. Нет, право же, молодой человек, подумайте о своем здоровье: здоровье дороже денег. Да скорее решайтесь: свободных у меня осталось всего три койки.

Искуситель, ох искуситель!

— А которые у вас еще не заняты? — спросил Гоголь возможно равнодушным тоном,

но голос у него словно осекся, застрял в горле.

— Вон те две нижние да вот эта верхняя. На вашем месте, признаться, я взял бы верхнюю: неравно с соседом вашим морская болезнь приключится. Прикажете сохранить для вас?

— Уж, право, не знаю...

— Я вам ее сохраню; но не долее, как на два дня: на сегодня и завтра.

— Благодарю вас, но пока я вовсе ведь еще не решил... — А решиться вам надо, и до завтрашнего вечера я, во всяком случае, просил бы вас дать мне окончательный ответ, потому что могут явиться другие желающие.

— Хорошо... До свиданья.

— До свиданья. Не упускайте же случая! Пожалеете потом, да поздно.

В душе Гоголя поднялась целая буря; куда девалось давешнее хладнокровие! Сыновний долг — великое дело, но в данном случае и обоюдоострое: исполнит ли он свой сыновний долг, если пожертвует собою? Нельзя ли разом достигнуть двух целей? Что, если уплата процентов опекунскому совету не так уже срочна?

Петербургские чиновники собирались тогда на службу куда ранее, чем в наше время. Несмотря на ранний час (пробило всего десять), Гоголь застал уже всех на своих местах. Оказалось, что плательщикам давалось четыре льготных месяца, с уплатою пени по пяти рублей с тысячи. Этакую-то пеню кто не уплатит! До ноября маменька весь урожай сбудет и, конечно, уж не затруднится выслать опять полную сумму, а сын у нее будет спасен.

И чтобы не упустить okazji спастись, сын взял, не рядясь, извозчика на Васильевский и погонял его как на пожар.

— Здравствуйте, господин капитан.

— А! Здравствуйте. Что же, решились?

— Решился. Та верхняя койка, которую вы мне предлагали, еще ведь не сдана?

— Нет, я ждал вашего ответа.

— Считайте ее за мною. А когда отъезд?

— Дней через пять, как сказано, а может, даже и через четыре: это зависит от погрузки. Как бы то ни было, вам надо теперь же озаботиться насчет заграничного паспорта; не то может выйти у вас задержка. Деньги за билет позвольте уже получить?

— Получите.

Надо ли говорить, как был удивлен Прокопович, а вечером и навестивший товарищей Данилевский, когда Гоголь предъявил им билет с надписью: «Von St.-Petetsburg nach Liibeck». Но оба были за него сердечно рады, а Данилевский предложил ему на дорогу и свою шубу, так как в конце сентября, ранее которого Гоголь не располагал вернуться, на море должно было быть уже холодно и бурно.

Выправка заграничного паспорта потребовала немало беготни, убеждений, просьб. Но к вечеру 24 июля все формальности были соблюдены, и паспорт лежал уже в кармане. Впереди оставался еще целый день для укладки. Но одно дело не было еще сделано, самое трудное; он нарочно отдалял его, как бы боясь поколебаться в своем решении. Но долее откладывать его уже не приходилось; надо было взяться за перо, и он выставил в заголовке одно только слово:

«Маменька!»

Это был крик нестерпимой боли, вопль отчаяния, который должен был сказать чут-

кому материнскому сердцу гораздо более, чем почтительные, но избитые уже эпитеты: «бесценнейшая», «драгоценнейшая», «почтеннейшая» и прочие.

«Не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении письма моего, но знаю только то, что вы не будете покойны. Говоря откровенно, кажется, еще ни одного вполне истинного утешения я не доставил вам. Простите, редкая, великодушная мать, еще доселе недостойному вас сыну.

Теперь, собираясь с силами писать к вам, не могу понять, отчего перо дрожит в руке моей, мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места, и непонятная сила нудит и вместе отталкивает их излиться перед вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу Всевышнего... Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по нескольким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать

на пользу мира. И я осмелился откинуть эти Божественные помыслы!..»

Все это было только введение к тяжелому признанию, и оно все разрасталось да разрасталось, чтобы отдалить минуту самого признания. Однако в конце концов без признания все-таки не обойтись. Но как убедить маменьку, на всем веку своем не сочинившую ни единого стиха, что для поэта, отказавшегося на веки вечные от своей музы, нет иного выбора, как смерть или бегство куда глаза глядят? Нет, ей этого все равно не понять! Иное дело — тронуть струны ее сердца. До сих пор ведь целые годы она оплакивает мужа; своим чутким женским сердцем она поймет и безумную, безнадежную любовь сына к прекрасному существу, отвергнувшему его чистые пламенные чувства. Ведь что же такое муза, как не такое дивное, но недостижимое для него существо? Он не скроет правды, хотя и в иносказательной форме. И признание его вылилось на бумагу так:

«Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости? Но я

видел ее... нет, не назову ее... Лицо, поразительное блистание которого в одно мгновение печатлется в сердце, глаза, быстро пронзающие душу, но их сияния, жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков... Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу. Нет, это существо, которое Он послал лишить меня покоя, расстроить шатко созданный мир мой, — не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвести таких ужасных, невыразимых впечатлений. Но, ради Бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока!

Итак, я решился. Но к чему, как приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много! Но лишь только я принялся, все, к удивлению моему, пошло как нельзя лучше; я даже легко получил пропуск. Одна остановка была, наконец, за деньгами. Здесь уже было я совсем отчаялся; но вдруг получаю следуемые в опекунский совет. Я сейчас отправился туда и узнал, сколько они могут нам дать просроч-

ки на уплату процентов, узнал, что просрочка дается на четыре месяца после срока, с платою по пяти рублей от тысячи в каждый месяц штрафа. Стало быть, до самого ноября месяца будут ждать. Поступок решительный, безрассудный, но что же было мне делать? Все деньги, следуемые в опекунский совет, оставил я себе, и теперь могу решительно сказать: больше от вас не потребую... Что же касается до того, как возратить эту сумму, как внести ее сполна, вы имеете полное право, данною и прилагаемою мной при сем доверенностью, продать следуемое мне имение, часть или все, заложить его, подарить, и проч., и проч... Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька! Этот перелом для меня необходим... Мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвести силою души в труде и деятельности, и если я не могу быть счастлив, по крайней мере всю жизнь посвящу для счастья и блага себе подобных. Но не ужасайтесь разлуки, я недалеко поеду: путь мой теперь лежит в Любек».

Уф, гора с плеч! Теперь еще в постскрипту-

ме «чувствительнейшую и невыразимую благодарность за драгоценные известия о малороссиянах» да секретное пояснение: «В тиши уединения и готовлю запас, которого, порядочно не обработавши, не пущу в свет... Сочинение мое, если когда выйдет, будет на иностранном языке».

Ох, матинко риднесенька, милесенька! Ужели она не убедится, что несчастному сыну ее нет иного исхода, как бежать без оглядки?

Глава седьмая НА МОРЕ НА ОКЕАНЕ

Одушевленная морская громада задорно пыхтит и роет лапами воду. Вот и третий колокол. Провожающие торопятся по сходням на берег, и сходни втаскиваются на палубу. Пароход начинает работать всеми парами и, покачиваясь, взбивая каскады брызг, тяжело-весно поворачивается и отваливает от пристани. А там машут платками, посылают отъезжающим прощальный привет на разных языках:

— Farewell!

— Ade!

— Поправляйся и пиши почаще!

Последнее кричит Прокопович, а стоящий у борта Гоголь откликается не менее громко:

— Добре, но не ручаюсь.

— А Данилевскому что сказать?

— Что он Иуда: мог бы тоже прийти провожать. Прокопович хочет, кажется, сказать еще что-то в оправдание неприбывшего, но должен прибегнуть к платку: разлука с сожи-

телем и другом очень уж переполнила его чувствительное сердце. А вот и он, как и вся толпа на пристани, остались уже позади, становятся все меньше да меньше, пока совсем не исчезают из виду.

Прощай, Питер! Прощай, Русь! Как знать — не навсегда ли? Впереди ведь весь Запад, весь свет; на душе так легко и привольно... да, но и как-то пусто, словно что-то там оторвалось и осталось дома.

— Farewell!

Совершенно безотчетно Гоголь произнес это слово вслух и с таким чувством, что стоявший тут же у борта молодой англичанин счел его, видно, за земляка и быстро залопотал что-то по-своему, выставляя при этом кончик языка. Но, взглядевшись в насмешливые черты молодого малоросса, вдруг замолк и с высокомерным видом отвернулся. С этого момента сын Альбиона затаил в себе, видно, неприязнь к сыну Украины: когда, по обеденному колоколу, пассажиры второго класса собрались в общей каюте, и Гоголь за столом очутился случайно рядом со своим тайным недругом, тот, приняв от другого соседа салат-

ник и отвалив себе на тарелку двойную порцию, передал салатник не Гоголю, а наискосок через стол белокурой немочке, любезно оскалив при этом свои крепкие и длинные зубы.

«Где я, бишь, видел эту лошадиную морду? — мелькнуло в голове у Гоголя. — Ага! Вспомнил: за прилавком в аглицком магазине, когда покупал себе перочинный ножик. Приказчику, понятно, не пристало ехать в первом классе с соотчичами синей крови; а держит себя, вишь, с тем же благородством и изяществом неподдельного дубового бревна!»

Большинство пассажиров, впрочем, были немцы обоего пола и всяких возрастов, от старческого до детского, и вели они себя совсем иначе: за первым же обедом все перезнакомились, чокались стаканами и дружно хохотали над шутками балагура-капитана, председательствовавшего за столом. Море он сравнивал с пустыней Сахарой, а корабль с верблюдом, на котором с непривычки хоть кого укачает: оттого-де и обед подается еще до открытого моря, «на черный день».

После десерта следовала еще чашка кофе.

Но в это время пароход, миновав Кронштадт, вышел в открытое море, и «верблюды» под сиденьями обедающих так явно заколыхался, что все рады были выбраться из душной каюты на вольный воздух. Выбрался туда и Гоголь, которому под конец как-то стало не по себе. Облокотясь на борт обеими руками, он оглядывался теперь по сторонам. Справа и слева едва-едва уже обозначались берега Финского залива, а там, впереди, где лучезарное солнце только что готово было окунуться в сверкающее море, — что за ширь беспредельная, необъятная! И ветер-то какой славный, чистый! Не петербургский из задворков — фу! — а морской, так сказать, трипель-экстракт воздушной ключевой воды. Вечно бы этак упивался им; чувствуешь, как оживаешь, перерождаешься. А что самое главное — что никто-то тебя тут не знает, никого и сам ты знать не хочешь. Совсем байроновский Чайльд-Гарольд: вперед, вперед, в неведомую даль! Как это поется в его «Доброй ночи»?

*Прости, прости, мой край родной!
Уж скрылся ты в волнах;*

*Касатка вьется, ветер ночной
Играет в парусах.
Уж тонут огненные лучи
В бездонной синеве...
Мой край родной, прости, прости!
Ночь добрая тебе[12]!*

Простите, конечно, и вареники с галушками, маковники с пампушками, простите и вы, маменька, добрейшая, милейшая, какой у Чайльд-Гарольда, конечно, никогда не было, быть не могло...

Сердце в груди юноши тоскливо сжалось: по спине его пробежали мурашки. Он плотнее запахнулся в плащ и должен был достать из кармана платок. Ну, вже так! Неужто он тоже раскисает?

С закатом солнца пассажиры собрались снова в каюту к чайному столу; а после чая дамы, уложив детей, деликатно удалились на палубу, чтобы дать мужчинам улечься и задернуться занавесками. Тем временем стюард (корабельный слуга) уменьшил пламя в лампе и протянул поперек каюты между дамской и мужской половиной веревку, а на веревке развесил несколько больших платков наподоб-

бие драпировки. Под ее защитой, в полумраке, дамы имели полную возможность устроить свой ночной туалет.

Полчаса спустя в каюте воцарилась общая тишина, нарушавшаяся только мирным храпом или носовым свистом за той или другой занавеской. Всех убаюкали равномерная качка, однообразный глухой шум пароводных колес, мягкий плеск волн в обшивку судна. Всех, кроме одного, который до самой зари ворочался с боку на бок, по временам тихонько охая про себя и вздыхая. Отчего же ему не спалось? От непривычных звуков моря или от неотвязных дум?

— Встанете вы нынче, mein Herr, или останетесь лежать? — раздался над самым ухом его чей-то голос, и кто-то потряс его за плечо.

Гоголь протер глаза и увидел перед собою знакомое уже ему лицо стюарда.

— Да разве пора вставать?

— Все пассажиры уже на палубе.

— И чай отпили?

— И чай, и кофе.

Гоголь быстро присел, но, не рассчитав вышины койки, ударился головой о потолок ее

так шибко, что в глазах у него потемнело.

— Donnerwetter! — выбранился он по-немецки.

— Да, тут у нас требуется некоторая сноровка, — усмехнулся слуга, — но прежде чем вы станете одеваться, позвольте мне завинтить иллюминатор.

— Да он закрыт.

— Закрыт, но не завинчен, а на море посветило; неравно плеснет к вам в койку.

В самом деле, в окошечко над койкой звучно хлестала волна за волной. Когда Гоголь вошел или, вернее сказать, когда его втокнуло невидимой рукой в тесный чуланчик, именуемый уборной, и он вздумал было с прохладцей умыться, налитая им в умывальную чашку вода плеснула ему разом и в рукава, и за расстегнутую жилетку. Вот так история! Прошу покорно!

Когда затем ему подали стакан чаю, из предосторожности обернутый салфеткой, он принял уже со своей стороны меры: ради баланса пил стоя, прислонясь к дверям; однако малую толику все ж таки пролил на пол. Вот и поди ж ты!

На палубу он вскарабкался без особого труда, благодаря поручням трапа; но тут его вдруг качнуло в сторону с такой силой, что он сделал воздушный пируэт, и если бы вовремя не ухватился за ванту, то неизбежно очутился бы на коленях у вчерашней немочки-блондинки, которая с страдальческой миной прижималась на каком-то тюке, накрытом парусиной. Барышня ахнула, но вслед за тем улыбнулась — улыбнулась слабой, бледной улыбкой, как осеннее солнышко сквозь тучи. Улыбайся, милочка, не стесняйся; чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

А вон и англичанин-приказчик; чтобы ветром картуза с головы не сорвало, подвязал его себе носовым платком под подбородком — удивительно, брат, к лицу! «Як свине монисто», — сказал бы Яким. И куда это несет его? Ну, так, конечно! Балансируя на своих длинных ходулях, подбирается к блондиночке, предлагая ей свои услуги — принести стакан лимонаду; но та, не глядя, отрицательно головой мотает и по-прежнему тоскливо устремляет свои незабудочные глазки в неопределенную даль. Молодчика же подхватило уже

неудержимым движением судна и откинуло далеко в сторону: куда лезешь с неумытым рылом! Пошел вон!

Носовая часть парохода была отведена под товарный груз, между которым кое-как разместились палубные пассажиры третьего класса. Под капитанским мостиком у дымовой трубы, где менее всего качало и дуло, расположилась аристократия первого класса; корму же занимала почти исключительно буржуазия второго класса, к которой принадлежал и Гоголь.

Видя, как матросы ходят по шаткой палубе, точно по твердому грунту, ловко наклоняясь всем корпусом то туда, то сюда, сообразно наклону судна, он вздумал было по примеру их прогуляться по корме, чтобы поразмять члены; да как бы не так, черта с два! Палуба то восставала перед ним горой, то вдруг опять опускалась крутым откосом, уходила из-под ног, и он бежал вприпрыжку под гору. Того гляди, поскользнешься и растянешься. Вернее все-таки пристроиться где-нибудь у борта.

А славно тут, ей-Богу, хорошо! Вон солнце-то как высоко поднялось, точно для того,

чтобы лучше обозреть своим огненным оком расстилающуюся внизу огромную картину. Где полотно, где кисти и краски, чтобы достойно передать эту необъятную ширь? Куда ни глянь — море да небо, небо да море! Но в то самое время, как в вышине лазурный небесный купол — олицетворение олимпийского покоя, внизу море, столь же чистое и прозрачное, но чудного цвета аквамарина, — сама жизнь земная, неутомная, кипучая, на всем пространстве своем колышется и дышит. Вон от самого горизонта надвигается полоска потемнее, все ближе да ближе, растет и растет. Ого-го, как важно развернулась! Это уже не волна, а какое-то морское чудище с пенистым хребтом. «Эй вы, людишки, на вашем суденышке держитесь крепче за веревочки: неравно проглочу!» Само оно, однако, видно, сыто; вздымает только суденышко на хребте своем, обдает людишек водяною пылью и катится себе далее. А следом уже новая волна, такая же пышная, грозная; куда ни обернись — все волны да волны, одна громаднее другой, и на всех-то те же белые зайчики, гонятся один за другим и никак не нагонят. Иг-

рает море, против солнца так и сверкает расплавленным стеклом, и только за кормою далеко-далеко тянется широкая глянцевитая лента... Черт возьми, что за роскошь, невероятная, непостижимая!

Не все, впрочем, пассажиры, должно быть, подобно Гоголю, восхищались разыгравшимся морем: к обеденному столу собралось их куда менее. Чтобы посуда не скатывалась со стола, его обложили кругом рамкой; но тарелку с супом все-таки приходилось каждому балансировать в руках.

— Кушайте, господа, кушайте на здоровье, — поощрял капитан, — чем плотнее набьете чрево, тем оно будет устойчивей.

Следуя благому совету, Гоголь нагружал себя возможно плотно; но оттого ли, что он был чересчур уж усерден, оттого ли, что табурет под ним ходуном ходил, оттого ли, наконец, что висевшая над столом лампа, как маятник, раскачивалась у него перед самым носом, — как бы то ни было, куски застревали у него в горле и от собиравшейся во рту желчной слюны казались пропитанными горькою полынью. Силы небесные! Да что ж это такое?.. Из-

нутри подступает к самому горлу...

Не досидев, он рванулся вон из-за стола, второпях опрокинул табурет и сам, наверное, полетел бы через него, не подхвати его сосед вовремя под руку. На палубе, подобно годовалому ребенку, обучающемуся ходить от стула к стулу, он стал было пробираться вдоль борта судна от снасти к снасти на конец кормы, но еще на полпути почувствовал себя так нехорошо, что должен был наклониться через борт... Ах, как нехорошо, ай, ай...

Тут на плечо его легла рука капитана.

— А не лучше ли вам, любезнейший, улечься в постельку? — отеческим тоном предложил весельчак. — Дайте-ка, я возьму вас на буксир. Вот так. Представьте себе теперь, что мы танцуем с вами гроссфатер: вы за даму, я за кавалера.

И гроссфатер благополучно «пробуксировал» свою гроссмуттер до каюты и койки.

В койке и то как будто покойнее; но под ложечкой по-прежнему сосет и ноет. Пароходные же колеса знай работают без одышки, тяжело шумят, точно под самым изголовьем. Нелегко, небось, беднягам справиться с це-

лым морем-океаном! Пароход кричит, скрипит по всем швам и нервно вздрагивает; а волны так и плещут — шлеп да шлеп — в маленькое оконце; сейчас, поди, разобьют, зальют... Уж не сам ли то старик Нептун к нему в гости жалует? Да, это он, это он со взъерошенной седой гривой стучится в стекло своей длинной зеленой ручищей: «Здорово, дружок! Чего схоронился, притаился? Все равно не уйдешь. Впусти-ка добром; вместе спустимся в мои подводные чертоги...»

«Сгинь, старче, чур меня!»

Гоголь накрылся с головою одеялом. Но и под одеялом все те же неотвязные звуки, все так же его вместе с пароходом вскидывает, встряхивает, а в груди все ноет да ноет...

Тут перед занавеской слышатся голоса, звенят чашки: чай, разбойники, распивают, закусывают. И откуда у них еще аппетит берется, у обжор? Фу! Даже и подумать тошно.

Наконец и ночь. Все кругом опять смолкло, кроме, разумеется, самого парохода да моря.

— Доброй ночи! Приятного сна! — доносится откуда-то последнее пожелание.

Да, как же, приятного сна! Заснешь тут на

этой ореховой скорлупе среди безбрежной, бездонной, бушующей пучины! У-у, какое гнетущее состояние, какая безысходная тоска! Что это, право, все только она же, эта подлая морская болезнь, или, в самом деле, аминь всему, сама смерть? Неужто же так и сойти со сцены жизни, ничего не совершив, оставив после себя только позорное пятно? Маменька, дорогая вы моя! Простите ли вы безумному сыну, что он за всю вашу любовь, беззаветную, беспредельную, отплатил самую черною неблагодарностью, чтобы убежать от собственной совести... Нет, бесславною смертью этого не исправишь, не загладишь! Надо жить — жить во что бы то ни стало. Боже, Царь Небесный! Смилуйся, дай пережить, искупить свой грех...

Глава восьмая НА ОСТРОВЕ НА БУЯНЕ

Пять суток уже пароход храбро бился против расходившейся морской стихии; на шестые, как по мановению волшебного жезла, волнение разом улеглось, и все, что в унынии попряталось по койкам, жизнерадостно выползло опять на свет Божий. Когда же на горизонте обозначилась полоска земли и в подзорную трубу капитана всякий мог собственными глазами различить вдали церковные шпили Любека, — всей перенесенной напастю как не бывало: англичане потребовали себе элю, немцы — пива, и палуба огласилась нестройным, но задушевым хором.

В три часа дня пароход вошел в гавань. Распрощавшись наскоро с шестидневными спутниками и с хозяином-капитаном, всякий спешил на берег. Гоголь, которому спешить было некуда, был из последних. Нездоровье у него также как рукой сняло, голова просветлела, но почва под ногами, точно пароходная палуба, продолжала еще колебаться, и он по-

корно отдался во власть первого носильщика, выхватившего у него из рук чемоданчик.

— В какую гостиницу прикажете?

— Мне все равно. Лишь бы недорогой номер...

— И недорогой, и прекрасный! О, господин останется доволен.

Номер, действительно, нашелся недорогой, хоть и относительно прекрасный; господин, впрочем, остался доволен, сдал паспорт коридорному и отправился осматривать заморскую диковину — Любек.

Так вот он какой, этот вольный ганзейский город, торговавший уже шестьсот лет назад с нашим вольным же Новгородом! Зато ведь и с виду в деда Питеру годится. Тот, пожалуй, тоже полунемец, прифранчен по-европейски, но, по юности своей, насчет порядка и опрятности костюма довольно-таки беззаботен. Любек же — почтенный старец из коренной немчуры, брезгливый, щепетильно-аккуратный, в старомодном длинном фраке с потертыми локтями, но не продранными, упаси Бог! В напудренном парике с косичкой и с неизменным фуляром и табакеркой в ру-

ках. Улицы без перерывов, дом к дому, как одна сплошная стена, и, экономии ради, все-то дома узкие-преузкие — в три-четыре окна, и высокие-превысокие, в пять-шесть и более этажей, вышка на вышке, словно стиснутые с боков соседями, поневоле становятся все на цыпочки, тянутся вверх за воздухом, чтобы не задохнуться. Но здесь не задохнешься при всей тесноте: из-под ворот — удивительное дело! — вовсе нет этих пронзительных, в нос ударяющих дуновении, которыми угощают нас домовладельцы Гороховой и Мещанской.

И что еще изумительнее: движения много, а глуму — ни-ни. Правда, что при всем многолюдстве ни единого возницы[13]; пешочком, изволите видеть, куда дешевле. Но нет и гама, крика, брани. Всякий знает свое место, свои права и обязанности гражданина-колбасника: я, мол, даю тебе дорогу, — и ты сторонись; я тебе вежливо кланяюсь, — и ты изволь отдать поклон.

— Здравствуйте, герр Мейер! Как поживаете?

— Благодаря Бога, герр Фишер. А вы как?

— Покорно благодарю; не смею жаловать-

ся. Потрясли друг другу руки, прикоснулись к полям шляп и мирно, разлюбезно разошлись; а через десять шагов та же церемония с герром Мюллером и с герром Шмидтом. Что значит Европа! Удивляйся и поучайся. А вот и Marktplatz, сиречь базарная площадь, Сенная. Толпа тоже кишмя кишит, но чинненько-миленько.

— Не прикажет ли господин вишен?

Предлагает это хоть и деревенская девушка, толстушка, кубышка этакая, кровь с молоком, но в чистеньком, нарядном корсетике, с зонтиком в ручке, чтобы солнышко, видишь, не запекло бела лица, — одно слово, немецкая штука. Ну как, скажите, обидеть, ничего не взять?

— Bitte, Mamsel!

И отвешивает мамзель тюрик спелых, сочных вишен-морелей и следуемый за них шиллинг[14] принимает с таким милым книксом, с такой обворожительной улыбкой, что — и, Боже! — готов, право, еще взять на другой шиллинг, чтобы снова заслужить и улыбку, и кникс.

Э, да тут водятся и экипажи! Правда, се-

мейная фура в Ноев ковчег и в одну лошадь: вези, кобыло, хоть тебе не мило! Благо здоровенная, жирная, что добрый вол. Посередке на ремнях ящик не ящик, а маленький дом, горой нагруженный всякими сельскими продуктами; среди продуктов королевой на троне сама мать семейства с дочерью; верхом же на лошади целых двое: впереди сынок; прошу посмотреть, куда залез постреленок, — на самую гриву! Да что поделаешь, коли надо дать еще за собою место зятю (а может, и жениху сестрицы? Кто его разберет!); а в арьергарде, держась за ремень, как подобает, песочком, верный батрак, — картина, достойная кисти Теньера!

А все-таки, что ни говори, то ли дело этакий скрипучий воз на волах, за которым лениво бредет на ярмарку длинноусый хохол в широчайших шароварах, с носогрежкой в зубах, а на возу, среди мешков пеньки, полотна либо арбузов и дынь, пышнее всякой дыни какая-нибудь Оксана или Галя, чернобровая, смуглолицая краля, с яркими лентами в густых косах, в венке из полевых цветов... Гай-гай! Вот бы параллель провести да в назида-

ние немчуре в здешней же газете и тиснуть? А то расписать им и всю ярмарку; кстати же, пожалуй, и романический эпизод вклеить между парубком и дивчиной, которых преследует ведьма-мачеха... В самом деле, отчего бы не преподнести им этакой штуки? Это был бы, так сказать, первый голубь с масличной веткой, за которым последовала бы целая стая всяких певчих, больших и малых. А как озаглавить? «Der kleinrussische Jahrmarkt»? Или «Ein kleinrussischer Jahrmarkt»? Или совсем без «древа» и «ейна» — просто «Kleinrussischer Jahrmarkt»? Фу ты на! Над этими «артикулами» сам черт ногу сломит. Ну, там найдется; сперва лишь бы смастерить по-русски, а по словарю можно подобрать хоть какое слово, и редактор-немец, где нужно, подправит, подмажет.

В таких мыслях Гоголь, сам того не замечая, оставил уже базарную площадь и из улицы в улицу, из переулка в переулок выбрался на окраину города — к городскому валу. Вал этот давным-давно утратил свое первоначальное значение — защищать горожан от вражеских набегов; засаженный правильной

тенистой аллеей, уставленной скамейками, он служил им теперь только местом прогулки и отдохновения от трудов дневных.

Присел тут и Гоголь на скамейке; но вид протекающей внизу речки Травы воскресил в его памяти родной Псел, и он со вздохом встал опять и спустился на ту сторону вала.

Тут уже пригород, дачное место, вроде петербургских островов: по дороге тянутся два ряда домиков, но пышно увитых зеленью, с палисадничками; деревья точно парикмахером подстрижены, подвиты, цветы рассажены самыми правильными клумбочками. Все это, надо честь отдать, в своем роде премило, но по-немецки, *zierlich-maenierlich*, *fein akkurat*... О, Васильевка! О, степь родная! Восстаньте во всей вашей простой, нетронутой красоте!..

Ночь. Добрые обыватели богоспасаемого града Любека мирно почивают за спущенными шторами. Одно лишь оконце, выходящее на соседние крыши, открыто настежь, и перед ним сидит одинокий мечтатель. Да и как, помилуйте, не замечаться! Луна, эта старинная знакомая, глядит ведь на него с вышины

столь же ясная, краткая, как, бывало, дома, в Васильевке. И все эти крыши и трубы в ее серебристом, таинственном свете, весь этот спящий город кажутся очарованными... А за тридевять земель, в глухом степном хуторке в это же самое время сидит, быть может, точно так же перед открытым окном одинокая вдова, глядит точно так же на эту же луну и тихо вздыхает, утирает слезы, думает не передумает о своем вероломном беглеце-сыне...

Мечтатель отрывается от окна, зажигает свечу и садится писать:

«...Теперь только, когда я, находясь один посреди необозримых волн, узнал, что значит разлука с вами, моя неоцененная маменька, в эти торжественные, ужасные часы моей жизни, когда я бежал от самого себя, когда я старался забыть все окружавшее меня, — мысль: что я вам причиняю сим — тяжелым камнем налегла на душу, и напрасно старался я уверить самого себя, что я принужден был повиноваться воле Того, Который управляет нами свыше... Как! За эти бесчисленные благодеяния, эту ничем

неоплатную любовь я должен причинить вам новые огорчения!.. О, это ужасно! Это раздирает мое сердце. Простите, милая, великодушная маменька, простите своему несчастному сыну, который одного только желал бы ныне — повергнуться в объятия ваши и излить пред вами изрытую и опустошенную бурями душу свою, рассказать всю тяжкую повесть свою. Часто я думаю о себе: зачем Бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем Он дал всему этому такую грубую оболочку? Зачем Он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?..»

«Продайте, ради Бога, продайте или заложите хоть все, — писал далее кающийся, — я слово дал, что более не потребую от вас и не стану разорять вас так бессовестно»; тем не менее, не имел еще мужества рассказать «свою тяжкую повесть». Излив свою душу, он перешел к описанию Любека.

«Но признаюсь, — заключил он, — все это еще как будто скользит по мне и пролетает мимо, не приковывая ни к чему моего безжизненного внимания. Сначала, за год перед сим, думал я: каковы-то будут первые впечатления при взгляде на совершенно новое, совершенно бывшее чуждым доселе для меня, на другие нравы, других людей? Как любопытство мое будет разгораться постепенно! Ничего не бывало. Я въехал так, как бы в давно знакомую деревню, которую привык видеть часто. Никакого особенного волнения не испытывал я. Как бы мне теперь хотелось видеть вас, хотя одно мгновение! Здоровы ли вы? О, будьте здоровы! Будьте утешены наконец нами...»

Что значит этакая чистосердечная исповедь! После нее засыпаешь, как по приказу, сном праведных, а поутру затем встаешь с чистою совестью, легкою, как перышко, телом свежий и бодрый.

За четверть часа до полудня Гоголь был в местном кафедральном соборе (Domkirche), чтобы не пропустить боя знаменитых часов. Перед часами стояла уже густая толпа любо-

пытных, не отрывая глаз от огромного циферблата и благоговейно слушая объяснения церковного сторожа, что вот, мол, на циферблате календарь на многие сотни лет, а вот показания погоды: когда ждать вёдра, когда дождя или грозы. Но тут стрелка подошла к двенадцати; большая мраморная статуя над часами ударила в колокол, и все присутствующие принялись машинально считать про себя торжественно-медленные, глухие удары. Но недосчитали, потому что в циферблате внезапно распахнулась дверь, и оттуда выступил сам Спаситель, а за ним чередой двенадцать апостолов, и все-то в полный человеческий рост. Идут мимо Христа и поют Ему славу и преклоняются. Вот и последний вошел в противоположную дверь, и она захлопнулась. Чудеса! Хотя и иновечерческий храм, а невольно осенишься крестом, сотворишь молитву.

Толпа между тем двинулась вслед за церковным сторожем, поучавшим, что собор построен-де еще в 1173 году Генрихом Львом («О! То был воплощенный лев» — «ein Lowe wie er leibt und leibt!»), что такой-то вот образ — кисти Альбрехта Дюрера, а такое-то из-

ваяние — работы Квелино. Как любитель живописи, а еще более как человек глубоко-религиозный, Гоголь безмолвно восхищался также произведениями старинного христианского искусства, от которых, среди торжественной тишины и прохладного сумрака обширного храма, веяло обаянием времен давно минувших и какою-то неотразимую святостью...

Дни шли за днями, а Гоголь все еще не тронулся из Любека. Осмотрел он там, не торопясь, и Мариин-скую церковь (Marienkirche) с ее астрономическими часами и пляскою смерти (Todtentanz), заглянул и в ратушу и ее знаменитый погреб (Rathsweinkeller), охотнее же всего просиживал по часам в тенистом садике одного загородного ресторанчика. Мимо то и дело шныряют расторопные кельнера с пенистыми кружками пива, вокруг шумный говор и смех туземных любителей этого напитка, а он, среди общего движения и гама, сидит себе за отдельным столиком с кружкой «Weisbier» перед собою, с полуприщуренными глазами, и не то мечтает, не то просто отдыхает душою. Может быть, перед ним носят-

ся опять самосозданные образы дивчины, парубка и ведьмы-мачехи? Может быть, и так. Но чтобы изложить все это на бумаге, он не взял бы теперь, кажется, и миллиона; век бы так нежился, с места не шевельнулся!

На десятый уже день подрядил он возницу, который на своей откормленной лошадке-голландке доставил его через добрых два часа времени красивою аллеей за восемнадцать верст к конечной цели его странствия — Травемюнде.

И здесь то же невозмутимое *dolce far niente* [15], но с большими вариациями; по утрам — целебные ванны, за обедом — компания собеседников со всех стран света, под председательством хлебосольного хозяина гостиницы, а перед сном — страничка-другая не чужого пера, а собственного: простонародный рассказец, которому и название уже найдено «Сорочинская ярмарка».

Глядь — двух недель опять как не бывало, курс лечения закончен, да и в кошельке уже дно ощупать можно. Засиживаться долее не приходится.

Еще денек в Гамбурге, прогулка по берегу

Альстера (приток Эльбы), по местному Невскому проспекту — Девичьей тропе (Ingfernstieg) — и восвояси. Но стоял уже сентябрь, и все — погода и море — глядело сентябрем. Да, тогдашняя июльская качка в сравнении с этой сентябрьской — сущие пустяки, игрушки! Теперь пароход кидало из одной водяной бездны в другую, окунало то носом, то кормою, накренивало до невозможности то на один, то на другой бок, и встряхивало так, что он самым отчаянным манером трещал и скрипел, кряхтел и стонал. Внутри же его по койкам раздавались только плач, стоны и скрежет зубовный, мольбы и клятвы всеми святыми — вовеки ни за какие коврижки в мире уже не пускаться в море. А сунься-ка на палубу — и того горше: насквозь тебя прохватит холодным ветром, с неба хлещет холодным дождем, с моря холодною же и соленою волною, в снастях и реях дикий свист и гул, за бортом грозный плеск и клокот, и все-то кругом тебя бешено прыгает, опрокидывается, мешается друг с другом — и мачты, и капитан на мостике, и облака, и волны... О, море, море! Как ты величественно и как безобразно, бес-

пощадно! Что перед тобою величайшее и ничтожнейшее создание — человек? Плеснуло — и смыло уже без следа со всеми его безумными мечтами и страстями. Ай! Ай! Под ложечкой опять засосало, и все разом поднимается, — Господи, Господи! И как это душа еще в теле держится? Когда-то этим адским мучениям конец?..

Вечером 22 сентября Прокопович, возвращаясь от знакомых, столкнулся внизу на лестнице с Якимом.

— Ты куда опять?

По всему лицу Якима до ушей расплылась блаженная улыбка.

— А в булочную за сухарями, — отвечал он, потрясая в руке салфеткой, — у нас важный гость.

— Гость? Уж не панок ли твой из немечины вернулся?

— Поихала Гася, тай вернулася! Спрашиваю его так, шуткуючи: «Видел ли, — кажу, — и черта немецкого?» — «Как же, — говорит, — видел: рожки маленькие, копыта в сафьяновых чобитках, хвост подвернут; не такой, як наш — хвост в аршин распущенный». Такой

же все жартливый! Да вот, стал он теперь читать письмо маменькино...

— Ладно! Беги в булочную, — прервал болтуна Прокопович, усмехнувшись, и поспешил наверх.

Но тут в дверях он остолбенел. Гоголь сидел за столом, облокотись обеими руками и спрятав в них лицо. На столе же перед ним лежало развернутое письмо, пришедшее на его имя несколько дней назад; что оно было от матери Гоголя, Прокопович узнал тогда же по почерку на адресе.

— Ты ли это, дружище?

Гоголь отнял руки от лица: оно было чисто, но смертельно-бледно и крайне расстроенно.

— Здравствуй, — промолвил он, как бы нехотя протягивая через стол руку.

— Здравствуй, милый мой! А я-то как по тебе соскучился! Дай же обнять тебя! Уж не дурные ли вести из дому?

— Нет, ничего...

Дурных вестей каких-либо в письме матери, точно, не было; но как потрясло оно сына до глубины души — видно из посланного им

спустя два дня ответа:

«С ужасом читал я письмо ваше, пущенное 6-го сентября... Вот вам мое признание: одни только гордые помыслы юности, проистекающие однако ж из чистого источника, из одного только пламенного желания быть полезным, не будучи умеряемы благоразумием, завлекли меня слишком далеко... Бог унизил мою гордость — Его святая воля! Но я здоров, и если мои ничтожные знания не могут доставить мне места, я имею руки, следовательно, не могу впасть в отчаяние... Одно только мое моление к Богу, одно желание: пусть Он изгладит из сердца вашего сына неблагодарного, вместе с несчастиями, им вам нанесенными, и да осчастливит вас счастьем моих добрых и бесценных сестер! Пусть они будут вам утешением, пусть ни одна из них не напомним собою недостойного брата! Если же Всевышнему угодно будет дать мне возможность и состояние хотя со временем поправить расстройство и разорение, мною вам причиненное, тогда только почту я, что надо мною произнесено Богом прощение... Я не в силах теперь известить вас о главных причи-

нах скопившихся, которые бы, может быть, оправдали меня хотя в некотором отношении. Чувства мои переполнены; я не могу перевести дыхание. Ваше письмо... Простите, простите меня, великодушная маменька!..»

Поведать начистоту всю историю с злополучным «Ганцем Кюхельгартенем» было свыше сил автора, и ни тогда, ни впоследствии он не сказал об ней ни слова. Уже после его смерти любознательные поклонники великого писателя выпытали ее от его верного простодушного Якима.

Глава девятая В ХОМУТЕ

Заграничная поездка принесла Гоголю двойную пользу: вылечила его телесно, излечила и духовно: стихотворный пыл его навсегда угас. Но суровая проза жизни, с которою он стал теперь лицом к лицу, не давала ему уже прохода.

— Беда человека найде, хочь и солнце зайде! — вздыхал теперь и Яким. — Без грошей человек не хороший.

Нужда, настоящая, беспощадная нужда стучалась к ним в дверь. Просить опять «грошей» из дому было немислимо. Надо было во что бы то ни стало приискать себе постоянных занятий, которые давали бы верный кусок хлеба. Но где взять их? После долгих тщетных поисков Гоголь решил обратиться к племяннику их семейного «благодетеля», «кибинцкого царька», Андрею Андреевичу Трощинскому, заслуженному генералу, унаследовавшему от дяди его богатые имения[16], принял молодого родственника несколько

свысока, но милостиво, снабдил его денежными средствами для уплаты за квартиру и для обзаведения необходимым зимним платьем, а затем обещался замолвить за него слово в Министерстве внутренних дел, где знал одного из директоров.

— Всего охотнее, признаться, я служил бы по юстиции, — позволил себе заявить Гоголь. — Моя давнишняя мечта была — работать против кривды, которая заела наш темный народ...

— Человек предполагает, а Бог располагает, — обрезал возражение Андрей Андреевич. — На всяком государственном поприще вы можете быть равно полезны: честные и усердные деятели везде нужны. Вы по диплому в каком ранге?

— В ранге коллежского регистратора.

— По нашему — прапора? Да! Ведь вы не были в университете, где кандидатам дается сразу штабс-капитанский чин; а теперь в министерствах больше спрос на таких людей с высшим образованием...

— Но и наша нежинская гимназия не простая, а «высших наук»: три старших класса

якобы университетские...

— То-то, что «якобы»; как говорится: тех же щей, да пожиже влей. Ну, что же, попытаемся, похлопочем.

Хлопоты его, однако, увенчались только половинным успехом: знакомый ему директор хотя и согласился принять к себе в департамент молодого нежинца, но не на штатное место и в течение первых двух месяцев даже без всякого жалованья. Выбора не было, и Гоголь с визитной карточкой Трощинского в кармане отправился в Министерство внутренних дел.

Когда он очутился тут в большой приемной с высокими окнами без гардин, среди голых серых стен, уставленных только длинным рядом дубовых стульев для просителей, — сердце в нем невольно сжалось: так вот где суждено ему утолить свою жажду государственной деятельности для общего блага! А в чем будет заключаться она, эта деятельность? Уж не в приемке ли пакетов?

Последняя мысль явилась ему при виде сидевшего за письменным столом у окна дежурного чиновника — седенького старичка в ста-

реньком вицмундире с крестиком в петличке, принимавшего от почтальона пакеты. Старый служака делал свое дело методически: пока он не пересчитал всех сданных ему пакетов и не расписался в их получении в разносной книге почтальона, он не замечал, не желал заметить торчавшего тут же у стола молодого просителя. Покончив с почтальоном, он достал из кармана роговую табакерку, угостил себя щепоткой, обтер нос и губы клетчатым не первой свежести носовым платком и тогда уже повернул голову к Гоголю.

— Вам кого?

— Мне бы директора.

— Сегодня у его превосходительства нет приема: пожалуйста завтра.

— Но у меня к нему карточка.

— Карточка? Гм... И от особы?

— От особы.

— Позвольте взглянуть. «Генерал-майор Андрей Андреевич Трощинский». Так-с. Вы, знать, определиться к нам хотите?

— Хотел бы.

Старичок критически обозрел с головы до

ног фигуру стоявшего перед ним молодого человека и чуть-чуть усмехнулся.

— Жеребенку хомута захотелось? Хорош наш хомут, ай хорош! — Он указал на сильно потертый бархатный воротник своего лоснившегося, как шелк, вицмундира. — А прошение у вас приготовлено?

— Какое прошение?

— О хомуте.

— Да разве надо еще прошение?

— Хе-хе-хе! Как же иначе о вас дело-то завести? С первого шага мы вас регистрируем, заномеруем. Так под номером и пустим гулять по белу свету!

— Чтобы не потерялся?

— Чтоб не потерялся, само собою, хе-хе-хе!

Многому еще вам придется у нас поучиться, хоть и кончили, верно, курс наук?

— Кончил.

— Да не совсем, как видите, не совсем-с. И диплома, пожалуй, с собой не прихватили?

— Нет.

— Что я говорю! При прошении вам следует приложить и диплом, и метрику, и свидетельство о дворянстве. Ведь вы, я чай, из дво-

рян?

— Из дворян. Да нельзя ли мне все это потом представить, хоть завтра?

— Завтра? Гм, в виде особого изъятия разве... Но в прошении вы должны обязательно упомянуть о сем.

— А самое прошение мне можно написать теперь же?

— Можете-с; гербовый лист вы достанете здесь же у швейцара; гривенничек всего приплатите. Эй, Парфентьев! Сходи-ка к Мироничу за гербовым листом.

Парфентьев, дежурный сторож, на врученный ему Гоголем рубль принес ему от швейцара гербовую бумагу и сдачи.

— Вот вам и перышко, садитесь и пишите, — сказал покровительственно чиновник, а сам обратился к вошедшему между тем курьеру постороннего ведомства, чтобы принять от него также несколько пакетов.

Легко сказать — пишите! Да что писать-то? Наплетешь еще совсем несуразное, а суть-то как раз, может, и упустишь, и лист гербовый испортишь. Вот наказание! Совсем как беспомощный ребенок...

— Что же вы? — слышался тут опять голос старичка-чиновника. — И прошение-то короче воробьиного носа написать не умеете? Эх-эх! Всякое, милостивый государь, дело мастера боится. Извольте уж, я вам продиктую. Пишите: «Его превосходительству»... Да что вы, что вы! Перекреститесь!

— Перекреститься?

— Да как же, виданное ли дело: «Превосходительство» пишете с маленькой буквы.

Как школьник под диктовку учителя, Гоголь выводил на бумаге слово за словом, пока не дошел до подписи.

— А здесь внизу выставьте свое местожительство, — заключил учитель. — Вот так. Что, в пот небось вогнало? Не прикажете ли для подкрепления табачку? Нет? Как угодно-с. В приемной тут курение возбранено, да и вообще-то нашему брату, канцелярскому, знаете, курить в присутственном месте не пристало. Так вот-с и балуешься нюхательным табачком: не зазорно и не накладно; дешевле даже курительного.

Словоохотливый старичок продолжал бы, вероятно, и дальше, не попроси его Гоголь

снести директору карточку Трощинского с прошением.

— Прощение вы покуда оставьте еще при себе, на случай, что вас примут, — объяснил чиновник. — А карточку я передам через курьера.

Немного погодя он возвратился.

— Его превосходительство велели подождать. Ждать, впрочем, Гоголю пришлось не очень долго.

Вместо самого директора, к нему вышел другой чиновник с орденом на шее и с такою важностью во всей выправке и в гладковыбритом лице немецкого типа, что ой-ой, не подходи близко! Не из остзейских ли фондов или даже баронов? — Это вы от генерала Трощинского? — обратился он к Гоголю сухим официальным тоном и на утвердительный ответ предложил ему идти за ним. — Директору угодно, чтобы я взял вас к себе в отделение. Прощение у вас с собой?

— Вот-с

— Хорошо. После сами отдадите в регистратуру.

В «регистратуру»... Это еще что за штука?

Но спрашивать у этого барина не приходится. Так вот оно, канцелярское святилище!

Впереди открылась анфилада «отделений», разделенных одно от другого только высокими арками; справа и слева ряды столов, а за столами, сторбившись над своей работой, чиновники и писцы. Миновав вторую или третью арку, начальник-вожатый остановился перед одним из столоначальников, который тотчас приподнялся с места.

— Вот, Тимофей Ильич, молодой человек, который, по желанию директора, будет заниматься в вашем столе.

Тимофей Ильич молча поклонился и указал Гоголю на пустой стул около своего стола.

— Присядьте. Вы где получили образование? Гоголь дал обстоятельный ответ. Что он кончил только по второму разряду — произвело на столоначальника, казалось, не совсем-то выгодное впечатление. Сам он, как потом оказалось, был из кандидатов петербургского университета. Но в сравнении с начальником отделения он держал себя значительно проще и спросил Гоголя «на совесть», намерен ли он серьезно посвятить себя чи-

новной карьере. Глядел он на него при этом так в упор, что у Гоголя духу не хватило ответить не «на совесть».

— Откровенно говоря, — сказал он, — я охотнее пошел бы по судебной части, но обстоятельства так сложились, что приходится искать куска хлеба...

— Так вы нуждаетесь все-таки в куске хлеба? И то хорошо. Значит, вы должны работать, а охота придет, может быть, своим чередом. Так что ж, не откладывая в долгий ящик, начнем с азов. Извольте видеть...

И началась целая лекция об «азах» канцелярской науки. Для наглядности лектор брал из вороха «дел» на столе перед собою то одно, то другое дело и вкратце, но толково и даже с некоторым одушевлением передавал сперва их содержание, а затем порядок делопроизводства. Вначале Гоголь старался сосредоточить все свое внимание, чтобы следить за его объяснением. Но содержание «дел» так мало говорило воображению и сердцу, что он вскоре совсем безотчетно отвлекся от сухой теории к живой действительности, — к тому, что происходило вокруг него: это была просто ка-

кая-то бумажно-чернильная лаборатория! Одни не покладая рук строчили бумагу за бумагой, другие их перебеливали, третьи рылись в шкапах или в грудях «дел», сваленных на подоконниках, четвертые «заводили дела», подшивая в синие обложки исполненные «подлинные» бумаги и «отпуска» (копии), пятые вносили во «входящий» журнал «вновь поступившие» бумаги и т. д.

И над всем этим стоял общий смутный шум от скрипа перьев, от шелеста перелистываемых бумаг, от шарканья ног под столами, от стука отодвигаемых стульев, от перешептывания писцов и отрывочных возгласов начальствующих лиц:

— Михеев! Подайте-ка третий том.

— Лукин! Очините-ка перо.

— Кирилов! Подложите-ка переписку.

— Вы, я вижу, довольно рассеяны, — внезапно оборвал Тимофей Ильич свою лекцию. — На деле вы, может быть, усвоите себе все скорее. Вот вам для начала две шаблонные бумажки — два прошения, которые надо препроводить: одно — в третьем лице по принадлежности к министру Императорского

Двора, князю Петру Михайловичу Волконскому, а другое — на заключение к московскому генерал-губернатору. Содержание постарайтесь изложить возможно сжато и ясно. Лаконизм — первое условие канцелярского стиля. Примеры вам подыщет канцелярский чиновник. Что, Пыжиков, отделались уже от дежурства?

Последние слова относились, как оказалось, к тому самому старичку-канцеляристу, который давеча дежурил в приемной, а теперь появился у соседнего стола, заваленного делами и бумагами.

— Отделался, Тимофей Ильич, — отвечал Пыжиков. — Калинин взялся за меня додежурить. Вон сколько бумаг ведь еще к отправке!

— И прекрасно. Будьте добры только сперва снабдить нашего нового сослуживца канцелярскими принадлежностями и шаблонами к этим двум исполнениям.

— Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится, — вполголоса приветствовал старик Пыжиков нового сослуживца. — Оба ведь не думали не гадали, что под одним началом служить придется. Можете себя

только поздравить.

— С чем?

— А с тем, что в стол к такому дельцу попали. Работник Тимофей Ильич у нас, каких с фонарем поискать; маленько, правда, строптив: за мнение свое готов пред начальством на стену лезть, распинаться; ну, и без протекции, так в черном теле его и держат. Вон Павлик у нас в кои веки, как красное солнышко, покажется и спрячется, а не нынче-завтра в чиновники особых поручений выскочит, помяните мое слово.

— Какой Павлик?

— А помощник Тимофея Ильича — Ключаревский, Павел Анатольевич. Вот и стул его — с той недели уже по хозяине плачет.

— Да может, он захворал?

— Он-то захворал, яблочко наливное? Да и время ли человеку хворать, скажите, когда надо и по Невскому-то на рысаке прокатиться, и с визитами к разным графиням да княгиням, которые без него как без рук: тут частное дельце им оборудуй, там справочку наведи, здесь лотерею-аллегри, целый базар устрой, живые картины поставь, — почем я

знаю! Словом: самонужнейший мужчина, чиновник особых поручений по всем статьям; только в министерском приказе еще не отдано. Ну-с, вот вам и два шаблончика, вот бланочки, перышко, карандашик, резиночка. С почином!

— Но куда мне сесть?

— А вон на стульчик Павлика. За него поработаете, так честь и место.

Уселся Гоголь, осенился крестом на образ с лампадой в углу: «Господи, благослови!» — и развернул первый «шаблон».

«Министр внутренних дел, свидетельствуя совершенное почтение такому-то, имеет честь препроводить при сем по принадлежности...»

Ну, это-то чего проще. Стиль самый немудреный. Вся задача в содержании «препровождаемого».

Обратился он к «препровождаемому». Было то прошение какого-то звенигородского мещанина на четырех страницах мелкого письма, да черт знает что такое! Нагородил, ишь, с три короба ни к селу ни к городу, а ты изволь всю эту дрянь изложить «сжато и яс-

но!»! Посоветоваться разве с Пыжиковым? Да ведь старикашка на смех еще поднимет. Напишем как Бог на душу положит.

Написал, прочел. Нет, не то! И чересчур пространно, и стиль не выдержан.

Стал переделывать, перемарал вдоль и поперек. Наконец-то, кажется, в тон попал. С черняка перебелил на чистом бланке. Слава тебе, Господи! Одна штука есть; остается другая.

Но что за оказия? Надо отправить прошение в Москву, а в самом прошении говорится о петергофских фонтанах.

— Простите, — решился Гоголь все-таки обеспокоить старичка-канцеляриста, — но я, признаться, никак в толк не возьму, какое дело московскому генерал-губернатору до петергофских фонтанов?

Пыжиков заглянул в прошение и фыркнул Гоголю в лицо.

— Перепутали, батенька! Это вам надо отправить вовсе не в Москву, а к министру Двора, а то, другое, — в Москву.

Фу ты пропасть! Совсем опростоволосился. Делать нечего: взялся опять за первую бумагу.

Да не угодно ли связать мысли, когда вокруг тебя вечная толчея, а начальник-барон без усталости ходит себе, знай, взад и вперед между столами подначальных тружеников, как маятник в часах — «чик!» да «чик» «чик» да «чик», — мимоходом подпуская тебе еще струйку табачного дыма, — может быть, и от настоящей гаванской сигары, но, тем не менее, преедкого дыма, от которого у некурящего человека с непривычки в горле першит.

Наконец-то утомился, присел к своему столу просмотреть поданную ему столоначальником Тимофеем Ильичом кипу переписанных бумаг. Вдруг, словно муха его укусила, гаркнул на все отделение так, что все кругом вздрогнули, оглянулись:

— Тимофей Ильич! Да что же это такое? Тот подошел к начальнику.

— Помилуйте, батюшка, что вы тут нагородили? Ведь резолюция директора совершенно ясная: «Разрешить».

— Ясная, но ошибочная, — отвечал Тимофей Ильич сдержанным, но решительным тоном.

— Как ошибочная! Его превосходитель-

ство, очевидно, желает удовлетворить ходатайство, а вы категорически его отклоняете.

— Потому что ходатайство незаконное.

— Вашего мнения не спрашивают! Воля начальства, а мы — исполнители. Я вас покорнейше прошу переделать бумагу.

— Не взыщите, Адольф Эмильевич, но я переделать ее не берусь.

— Как не беретесь?

— Да вы прочли ее до конца?

— Прочел. Ну, и что же?

— Законы приведены мною, кажется, правильно?

— Положим, что правильно...

— А коли так, то какое же я имел бы право исполнять незаконную резолюцию? Всякому человеку свойственно ошибаться — и начальству. Если же мне, исполнителю, вверена ответственная часть, то я должен и оправдать это доверие, оберегать начальство от противозаконностей.

Хотя сам Тимофей Ильич по-прежнему не повышал тона, подобно своему начальнику, но общее внимание всего отделения было уже обращено на препирающихся. Адольф

Эмильевич не мог этого не заметить, и кровь хлынула ему в голову, глаза его гневно за- сверкали. Ему стоило, видимо, большого труда побороть себя.

— Хорошо! Оставьте мне бумагу... — про- бормотал он и дрожащею от волнения рукою схватил перо, что-бы самолично переделать работу строптивного подчиненного.

Наступило полное затишье; весь чинов- ный мир кругом притаился, как бы в ожида- нии нового раската грома. И вдруг, откуда ни возьмись, солнышко!

В отделение впорхнул маленький, круг- ленький человечек лет двадцати пяти, в кото- ром решительно уже не было ничего «чинов- ного». Партикулярный с иголочки фрак на нем был последнего покроя с длиннейшими фалдами и самого модного цвета — гаванско- го с искрой; из-под широких бланжевых пан- талон кокетливо выставлялись кончики ма- леньких ножек в лакированных ботинках; пунцовый шелковый шарф, пришпиленный крупной булавкой-жемчужиной, ниспадал на белоснежную кружевную сорочку небреж- но-изящным бантом. Это был петиметр чи-

стейшей воды, мягкие движения которого и слегка помятое, но розовое и предобродушное лицо с ущемленным в правом глазу стеклышком вполне гармонировали со всей элегантной фигурой.

— Вот и наш Павлик, — заметил Пыжиков, подмигивая Гоголю. — Добро пожаловать, Павел Анатольевич. Сколько лет, сколько зим?

Но Павлику было не до канцелярского. Приятельски кивая по сторонам, он подлетел уже к начальнику отделения, красиво изогнувшись, расшаркался и извинился по-французски, что немножко-де замешкался и явился в партикулярному виде; но что он в ужасной передрыге: надо в три дня развезти триста билетов к благотворительному концерту княгини Евпраксий Борисовны.

— Вашему высокородию имею честь представить на ближайшее усмотрение, по бывшим примерам, два почетных билета, — заключил он по-русски, доставая из бумажника два билета. — А супруге вашей я позволил себе препроводить по принадлежности прямо на кухню замечательного зайца.

— Grand merci, — поблагодарил началь-

ник, черты которого значительно прояснились. — А вы, mon cher, что же, были ОПЯТЬ на охоте?

— Да, с вашего разрешения, за Нарвой у Палена.

— Как с моего разрешения?

— Да когда я как-то доставил вам оттуда окорок лося, вы разве не дали мне раз навсегда *carte blanche*[17]?

И какой же там при сей okazji со мной анекдот приключился, доложу я вам, — умора!

При одном воспоминании об анекдоте, молодой охотник покатился со смеху.

— Расскажите, — заинтересовался Адольф Эмильевич, усаживаясь удобнее в кресле и зажигая себе новую сигару.

— *Eh bien*[18], едем мы это всей компанией к месту охоты. Дорога проселками. Снег по сторонам сугробами в два аршина. На паре, как знаете, проехать и не думай.

— Еще бы: на то у нас там и санки-одиночки, а лошади — маленькие шведки.

— Вот, вот. Но мы затеяли гонку. Лошади вязнут в снегу чуть не по горло, фыркают; бу-

бенчики звенят; крик, хохот... Вдруг выскочи на дорогу из крестьянских задворков свинья, препочтенная этакая mater familias, и под ноги моей шведке Та — стоп, на дыбы. А задние сани нас уже обгоняют. Положение хуже губернаторского! Ударил я вожжами по шведке, гикнул, и понеслась она, голубушка, стрелой за хавроньей. А та в перевалку перед нами трюх-трюх и со страху без умолка: «хрю-хрю!»

— Хороша картина! — вставил с снисходительной улыбкой Адольф Эмильевич, пуская дымное колечко.

— N'est-ce pas? Но постойте: la pointe впереди. Нагнали мы Хавронью Ивановну; ну что бы, кажется, признать уж себя побежденной, свернуть с дороги? Ан нет, трусит себе, дурица, без оглядки перед нами тем же аллюром. Момент — и визжит уже под полозьями благим матом на всю Ивановскую. Санки на бок и я в снегу. Гляжу: что с моей свиньюшкой? Можете себе представить: туша-то в целости, но пятак с рыла как ножом срезало!

— Так-таки отскочил и лежит на дороге?

— Так и лежит.

— А вы что же, не подобрали?

— Подобрал и тут же подарил деревенскому мальчишке, который подвернулся очень кстати: «На тебе, братец, на пряники».

«Пуанта» рассмешила не только начальника, но и окружающих подчиненных, которые, оказалось, также прислушивались к игривому рассказу. Адольф Эмильевич сразу нахмурился, вытянулся в своем кресле и заметил рассказчику полуофициальным уже тоном:

— Пора нам, однако, и делом заняться. И для вас, mon cher, кое-что найдется.

— На сегодня, добрейший Адольф Эмильевич, я просил бы меня еще уволить, — с заискивающей развязностью извинился Павлик, — мне непременно надо заехать до обеда еще в несколько мест.

Начальник не стал, конечно, его удерживать. Теперь только, уходя «со службы», Ключаревский по пути стал по-приятельски здороваться и прощаться за руку с остальными сослуживцами. Тут ему попался на глаза и Гоголь, сидевший как раз на его, Ключаревского, месте.

— А, новое лицо! — сказал он, поправляя в глазу стеклышко. — Определяетесь на служ-

бу?

— Определяюсь, — отвечал Гоголь, не без недоумения глядя на приветливо улыбающегося ему допросчика.

— Очень рад — не столько за вас, сколько за себя: при случае заместите. Ведь я здесь некоторым образом гость: не хочу быть только лишним гостем. Вы, может быть, не знаете, что такое лишний гость?

— Что?

— А вот что. Засиделся он опять после чая, надоед хозяину хуже горькой редьки, а сам не убирается, ждет, вишь, не угостят ли еще фруктами, вареньем или закуской? Наконец, делать нечего, берется за шляпу, извиняется, что никак не может более оставаться: доктора советуют ложиться ранее... «О! Я вас отлично понимаю, — говорит хозяин с соболезнующей миной, — сон до двенадцати часов, действительно, самый крепкий и полезный. Доброй ночи!» Так вот-с, буде вы, прослужив здесь малую толику, все еще оставались бы на положении лишнего гостя, то не выжидайте закуски...

— Павел Анатольевич! Вы что это там про-

поведуете? — донесся тут голос начальника. — Уходите-ка, уходите и других не мутите.

— Ухожу, ухожу, лечу!

Интермедия, устроенная Павликом, несколько освежила Гоголя, и он с новыми силами принялся за свою вторую бумагу. Осилит тоже, переписал почище и понес к столу-начальнику. Что-то скажет?

Увы! Тот едва только бросил взгляд на первую бумагу, как похерил все «содержание» и, взамен того, нацарапал на полях живой рукой нечто вдвое короче. Вторую бумагу постигла та же участь. Шелуху оставил, а ядро выкинул! Передав обе бумаги одному из писцов для переписки, он обратился к Гоголю:

— Другой работы для вас у меня покамест нет: все слишком еще для вас сложно. Но вам неизлишне ознакомиться на практике и с нашей черной работой. Пыжиков! Займите-ка молодого человека.

Как провинившегося мальчугана, его сдали на руки инвалиду-дядьке!

— С чего бы нам начать? — глубокомысленно проговорил Пыжиков, входя в роль

наставника. — С иглой-то вы ведь, я чай, немножко обходиться умеете? Пуговицы себе в школе пришивали?

— Нет, не случилось; у меня был на то человек.

— Эх-эх! Да, впрочем, пуговицы все не то, что казенные бумаги. Ужо, как удосужусь, так обучу вас нашему портняжному делу. А теперича что желаете на выбор: либо новые дела в алфавит вносить, либо старым делам опись составлять для сдачи в архив?

У Гоголя точно петлею горло сжало, а глаза заволокло влажною дымкой. Вот она, государственная деятельность, широкая, плодотворная, к которой он недавно еще так порывался, которую в мечтах своих рисовал себе такими радужными красками! С первого же дня самого его сдают в архив! Да стоит ли теперь возражать? К кому апеллировать? Против судьбы, неотвратимой, неумолимой, не апеллируют, а выносят ее с христианским смирением.

— Мне все равно! Давайте, что хотите.

— А все равно, так вот-с опись. Дело простое, не головоломное.

Дело, точно, было не головоломное, но

отупляющее, одуряющее; окружающая же департаментская атмосфера, пропитанная насквозь бумажною пылью и табачным дымом, еще более одурманивала. Гоголю сдавалось, что он с часу на час глупеет, деревенеет. С полным равнодушием услышал он, как запыхавшийся курьер возвестил, что директор собирается уходить и просит к себе господ начальников отделений с самыми экстренными бумагами; с тем же равнодушием видел он, как Адольф Эмильевич, поспешивший на зов главы департамента, вскоре опять возвратился и передал Пыжикову одну подписанную бумагу с внушением немедля ее отправить.

— Эге-ге! — пробормотал про себя Пыжиков и вполголоса подозвал к себе Гоголя: — Пожалуйте-ка сюда.

— Что такое?

— Чудо чудное: на закон-то не посягнул.

— Кто?

— А отделенский шеф наш. Помните ведь, как из-за одной бумажки у него с Тимофеем Ильичом давеча сыр-бор загорелся?

— Ну?

— Ну, так это она самая и есть: редак-

цию-то по своему изменил, да только так, знаете, с поверхности патокой помазал, дабы уластить горечь отказа: одной рукой по морде, а другой по шерстке, одной по морде, а другой по шерстке! Хе-хе-хе!

— И директор подписал?

— А вот, извольте видеть. Вся штука, батенька, в редакции. О, это целая наука-с! Хомут-то на вас надели, но везти повозку — надо поучиться да поучиться. Ну, да Бог милостив, сам директор наш, было время, тут же на этом стуле под моим руководством дела подшивал, а теперь, на-ка поди, куда возлетел! Терпи казак — атаманом будешь.

Так утешал старик. Но юнец-казак не мечтал уже об атаманстве. Перед ним тянулась неоглядная, однообразно-серая перспектива алфавитов и описей, дел к подшивке и шаблонов, шаблонов, шаблонов без конца...

В хомуте!..

Глава десятая

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

«„Удав!“ Выдумал тоже! — рассуждал сам с собою сожитель Гоголя, Прокопович, лежа после сытного обеда в полудремотном состоянии у себя на кровати. — Как набегашься этак с утра, высунув язык, по урокам, так к обеду аппетит, понятно, волчий. Комплекция, слава Богу, здоровая, казацкая. А нынче, не в счет абонемент, прихватил еще с Сенной живого налима: такую знатную ущицу молодец Яким сварил, что после двух тарелок съел бы и третью и четвертую, кабы место только нашлось. И после этого человек величает себя „венцом творения“! Хорош венец! А добрый приятель над тобой еще издевается: „Удав! boa constrictor!“ — точно ты и в самом деле закусил не каким-то ничтожным трехфунтовым налимом, а целым теленком».

Философствуя таким образом, Прокопович стал понемногу забываться, когда внезапно был потревожен каким-то необыкновенным

шумом в смежной комнате.

Что бы это значило? Топанье ног, хлопанье в ладоши и пение не пение, а монотонное завывание как будто самого Гоголя, который и в гимназии-то, за отсутствием слуха, был освобожден учителем Севрюгиным от хорового пения. С горя-печали себя потешает, что ли? За обедом давеча сидел ведь как в воду опущенный, на уху и глядеть не хотел, а на вопрос: «Здоров ли?» — взялся только за горло: хомут, мол, давит. Хомут! Да, моя ясочко, служба не дружба. Однако, посмотреть все же, что с ним.

С трудом расставшись с мягким ложем, Прокопович отворил дверь к приятелю. Но тут глазам его представилось такое зрелище, что он застыл на пороге.

Посреди комнаты Яким плясал гопак, плясал с таким азартом, что чуб на макушке у него трясся, точно хотел оторваться, а с лица его, пылавшего как жар, пот длил градом. Гоголь же, в своем неизменном халате, полулежа на диване, бил в такт в ладоши и распевал с большим одушевлением и упорно фальшиво[19]:

*Ходит гарбуз по городу,
Пытаетця своего роду:
Ой, чи живы, чи здорови
Все родичи гарбузови?*

При виде Прокоповича Яким, довольный случаем дух перевести, прекратил свой неистовый танец.

— А я, брат, Николай Васильевич, уже думал, что не твоя ли это милость с горя в пляс пустилась? — заметил Прокопович.

— Я ни плясать, ни плакать, как знаешь, не умею...

— А потому поручил дело Якиму? Но пока-то он только пляшет.

— Все по ряду, душа моя; будет и плач велий. Можешь, казаче, налить себе еще рюмицу, — обратился Гоголь к Якиму, — а там спой-ка нам старую думу, да пожалобливее, чтобы слеза прошибла.

Для приятелей-земляков у Гоголя в шкапчике имелось всегда угощение: банка с вареньем и две фляги: одна — киевской наливки и другая — горилки-старки.

— Бувайте здорови! — пожелал Яким обоим господам, налив себе полную рюмку стар-

ки, и разом ее опрокинул в глотку; после чего крикнул, потрянул чубом и отошел к двери. Прислонясь здесь спиной к косяку и подперев ладонью щеку, он затаил протяжно-заунывно, на манер украинских кобзарей, старинную думу о побеге трех братьев из неволи турецкой.

«Как из земли турецкой да из веры басурманской, из того города Азова, не пыль-туман вставал: из тяжелой неволи три родные брата утекали: два конных, третий, меньшей, — пеший. За конными бежит пеший, бежит-подбегает, по выжженной степи белыми ногами ступает, кровь следы заливает, за стремяна братьев хватает, горько молит-умоляет сбросить с коней дорогие седла, добычу богатую, взять его, меньшого брата, меж коней своих, подвезти в землю христианскую к отцу-матери.

Не брали его конные братья: жаль с добычей расстаться. Нагоняет их снова пеший брат, последней милости просит: вынуть из ножен саблю, снять с него, пешего, голову, похоронить в чистом поле, не дать на поживу зверю и птице.

Не хотят рубить ему братья головы: не возьмет сабля, рука не подыметя, сердце не осмелится.

В третий раз догоняет их пеший брат: как доедут до буераков, срубали бы ветви терновые, по дороге бы раскидывали для приметы ему, пешему.

Срубали братья ветви терновые, раскидывали по дороге; а как выехали на высокие степи и не стало терновика, средний брат из-под жупана обрывал красную да желтую китайку, стлал по дороге для приметы меньшому брату.

Находил меньшей брат ту красную да желтую китайку, к сердцу прижимает, слезно рыдает: нет, уже, знать, на свете братьев, либо изрублены, либо пристрелены, либо в неволю назад угнаны.

Самого же его голод-жажда мучит, тихий ветер с ног валит. Дошел так на девятый день до Савур-могилы, на могилу ложится, головой припадает. Сбегались тут волки серые, слетались орлы чернокрылые — живому темные похороны справлять. И молвил он им:

„Волки серые, орлы чернокрылые, гости

мои милые! обождите хоть немножечко, пока душа казацкая с телом разлучится...“

Не черная туча налетела, не буйные ветры подули, то душа казацкая молодецкая с телом разлучалась. Сбегались тут волки серые, слетались орла чернокрылые, в головах садились, изо лба черные очи выклевывали, белое тело вокруг желтой кости обгладывали, желтую кость под зеленые яворы разносили, сверху камышами прикрывали...»

— Стой! — неожиданно перервал Гоголь самозваного кобзаря, вскакивая с дивана. — А теперички, братику мий, утекай тоже.

— Дай же ему хоть допеть-то, как безбожные басурмане набега ли и тех двух старших братьев порубали... — вступился Прокопович.

— Может допеть, коли хочешь, у тебя, — отвечал Гоголь, быстро подходя к письменному столу и доставая из ящика ворох исписанных листов.

— Да неужели ты, Николай Васильевич, записать всю думу хочешь?

— Записать не записать, а поймать за хвост некую мысль...

— Как жар-птицу, чтобы не улетела?

— Да, да. Ну, что же, люде добри? На добра нич вам, спочивайте.

И те — делать нечего — вышли, а минуто спустя из комнаты Прокоповича донеслись прежние заунывные звуки. Но Гоголь уже не слушал, не хотел слышать и, хмурясь, стал рыться в своих бумагах.

Дума замолкла, но вызванные ею образы продолжали витать над головою юноши, наклонившегося над своим писаньем.

Еще в Любеке, как припомнят читатели, у Гоголя был начат очерк малороссийской ярмарки, принявший затем форму рассказа. Но предназначался он тогда для немцев и остался не только не переведенным на их язык, но и недописанным по-русски, и сердце автора к нему охладело. Писательская жилка, однако, как ключ подо льдом, продолжала в нем тайно биться.

По возвращении в Петербург, до поступления в департамент, томясь бездействием, Гоголь занялся опять просмотром присланных ему матерью из деревни отрывочных материалов, и от этих народных обычаев и нравов, от этих старинных преданий и поверий пове-

яло на него чем-то таким родным и милым, что он не устоял и снова взялся за перо.

Вдохновившись теперь думой о побеге трех братьев, он мельком лишь на всякий случай перелистывал свою «Сорочинскую ярмарку». Ярмарочные сценки, кажется, удались, да и про красную свитку недурно. Только страху настоящего маловато, чертовщина больше для смеха. То ли дело — его новая быль, подлинная драма, от которой самому как-то жутко становится! Здесь и для тех волков серых и орлов чернокрылых найдется подходящее место. Пидорка не хочет идти за нелюбого ляха и посылает к Петру своего шестилетнего братишку Ивася!

— Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе: будут дьяки петь, вместо кобз и сопилек. Не пойду я танцевать с женихом моим: понесут меня! Темная-темная моя будет хата: из кленового дерева, и, вместо трубы, крест будет стоять на крыше!

Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины слова.

— А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому! Недобрый глаз поглядел на нас...

Ну, тут и вставить, но так, конечно, чтобы вставка вытекала из предыдущего как бы сама собой. Гм... Волки, сдирающие мясо с костей, в такой старинной песне, пожалуй, даже кстати: картина грубая, но ведь и для грубых времен и нравов. А что скажут наши нынешние слабонервные эстетики, если ту же картину во всей неприкосновенности преподнесет им современный автор? «Тьфу, — скажут, — что за мерзость! Этак ничего теперь и в рот не возьмешь!» Но чем заменить серых волков? Черным вороном? А как же быть тогда с орлом чернокрылым? Вот тут и подбери картинный эпитет! Точно сам враг человеческий хотел подшутить над тобой, подсунул нарочно этих трех братьев... Да нет, приятель, не надуешь! Подберем.

Гоголь облокотился и глубоко задумался: потом совсем безотчетно выдвинул ящик стола и из глубины его, не глядя, выудил леде-нец; но едва лишь препроводил его в рот, как

схватил перо и стал писать на полях листа. Перечел в связи с остальным — и остался недоволен; зачеркнул несколько слов и надписал сверху другие. Народная дума дала ему, так сказать, только толчок к поэтической вставке, которая в окончательном виде сохранила отдаленный лишь намек на первоисточник:

«Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе — ворон черный прокрячет, вместо попа, надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча — моя крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дожди казацкие косточки, и вихорь высушит их...»

Тем временем смеркалось; пришлось зажечь свечу. Сам того не замечая, Гоголь начал перечитывать всю быль. Эх, не то, не так! Рука его машинально полезла в стол за новым леденцом.

Рядом, в комнате Прокоповича, давно шумел самовар; сам Прокопович два раза уж заглядывал в дверь, звал к чаю, а молодой писатель нетерпеливо только пером отмахивался:

— Ах, отвяжись!

— Да ведь чай тебе когда уже налит; со всем простынет.

— И пускай.

— Так не подать ли его тебе сюда?

— Да, будь друг.

И друг на цыпочках принес стакан и на цыпочках удалился. Гоголь же продолжал с критическою строгостью исправлять свое произведение, как бы совсем чужое, по временам вставал и прохаживался большими шагами взад-вперед, обдумывая какую-нибудь сцену, потом опять садился и чиркал, писал целые страницы вновь.

Запас леденцов в столе истощился; рука тщетно шарила за ними по всему ящику. Ах ты, Господи! Вот беда так беда!

Писатели-курильщики уверяют, что в минуты творчества курение очень способствует им связать мысли. Великий Шиллер вдохновлялся для своих бессмертных драм запахом гнилых яблок, которые имелись у него всегда в письменном столе. Гоголь не курил, не питал пристрастия и к гнилым яблокам; но он был лакомкой, и леденцы на этот раз сослу-

жили подобную же службу.

Откуда взять им суррогат? Ова! Ему вспомнилась вдруг в шкапчике банка с вареньем, которую он припас вместе с наливкой и горилкой-старкой для приятелей-малороссов. Поставив ее к себе на стол с стаканом воды, он временами брал по ложечке варенья и запивал тотчас глотком воды. И как фантазия-то опять окрылилась! Поясница ноет, голова отяжелела, а все как-то не можешь оторваться от увлекательной работы. Но вот и банка опустела, и мысли в голове начинают путаться, глаза слипаться; эх-ма, хошь не хошь, а придется-таки лечь! Но и в ночном мраке, в ночной тиши действующие лица его самодельной были мелькали перед ним вереницей, говорили меж собой, как живые.

На другое утро он чуть не на целый час запоздал в департамент и должен был выслушать там от начальника отделения реприманд, что «эдак, милостивый государь, служить нельзя; служить — так служить!»

А каково ему было потом приняться снова за канцелярские «шаблоны»? Воображение рисует ему самые захватывающие драматиче-

ские положения среди дорогой ему Уркайны, а тут изволь-ка по-чиновничьи расшаркиваться: «Вследствие отношения... имею честь... покорнейше прося о последующем почтить уведомлением...». Ай да «честь», нечего сказать! И о чем «покорнейшая» просьба-то? О пустяковине; да еще «почтить»! Господи помилуй! Вот уж подлинно, «слова, слова, слова», как говорит Гамлет.

Зато, возвратясь со службы, с каким наслаждением обратился он снова к своему «приватному» делу! После нестерпимой жажды от департаментской суши как освежала светлая струя собственного вдохновения!

Так с этого-то времени и до тех пор, пока он окончательно не распростился со служебной карьерой, жизнь его раздвоилась: первая половина дня отдавалась волей-неволей черствой прозе действительной жизни; вторая же половина была в полном его распоряжении, и сколько тут пережил он горьких и сладких минут в самосозданном, сокровенном мире свободного творчества!

Незадолго до Рождества, в воскресный день, Гоголь, дочитывая про себя краткую мо-

литву, звонил у двери, на которой была прибитая металлическая дощечка с надписью: «Редакция журнала „Отечественные Записки“», под дощечкой — визитная карточка Павла Петровича Свиньина, а под карточкой — письменное объяснение, что «редактора можно видеть по воскресным дням, от двух до четырех часов». Открывший двери казачок, увидев в руках Гоголя бумажный сверток, не спросил даже, кто он и кого ему нужно, а просто предложил ему пройти в гостиную.

— А что же, господин редактор занят?

— Заняты-с: у них сотрудник.

«Сотрудник»! Да, этакий титул куда почетнее звания не только канцелярского, но и столоначальника. Столоначальников-то в Петербурге — что тумб на улице, именно тумб! А сотрудников журнальных — один-другой и обчелся. Попадешь ли только в число их?

Гоголь со вздохом присел около двери; но ему не сиделось, и он подошел к столу, на котором было разложено несколько номеров «Отечественных Записок». Журнал этот случилось ему, конечно, видеть и прежде, но те-

перь он отнесся к его внешнему виду совсем иначе — с точки зрения будущего «сотрудника». М-да, с виду-то куда неказист: формат мизерный — в двенадцатую долю, бумага серая, шрифт избитый... Зато эпиграф на обложке самый возвышенный:

*Любить Отечество велят: природа, Бог;
А знать его — вот честь, достоинство и долг!*

Рифма, правда, с изъянцем, но не всякое же лыко в строку. И соловей на вид не наряднее воробья, а как, поди, заливается!

Б-р-р-р! Какой холод! Даже дрожь пробирает. Верно, не топили сегодня? Нет, печка теплая. А вот на стене и термометр. Посмотрим, сколько градусов? Четырнадцать! Температура более или менее нормальная. Но кровь точно застыла в жилах, руки как ледяшки. Непременно надо будет обзавестись теплыми перчатками, а то подашь этому редактору мерзлую руку — он, как от лягушки, свою отдернет, и станешь ты ему сразу противен. Как часто ведь такое первое впечатление решает судьбу человека!

Чу! Рядом в комнате задвигали стульями, заговорили громче: один голос как труба, — очевидно, редакторский, другой как дудка — сотрудника. Какую бы позу принять? Не так, чтобы слишком независимую, но и не так, чтобы чересчур забитую. Главное — вооружиться рыцарским бесстрашием: смелость города берет!

Дверь стукнула, и на пороге показался, спиною к Гоголю, жиденский человек с лысинкой и в потертом сюртучке. Как комнатная собачка, на задних лапках выпрашивающая себе кусочек сахара, он пятился от направшего на него средней комплекции господина в бухарском шелковом халате и с чубуком в руке и продолжал жалобным фальцетом начатую еще за дверью просьбу:

— Но завтрашний день, клянусь вам, статья будет вам представлена...

— Тогда и сведем счеты, — решительно и басом перебил сотрудника выпроваживающий его редактор.

— Но даю вам голову на отсечение...

— А на что она мне, скажите, когда будет отсечена? А на плечах она пригодится, наде-

юсь, еще и вам, и мне. Нижайший поклон супруге!

Затем он обернулся к выступившему вперед Гоголю и чубуком, как жезлом, пригласил его за собою в кабинет:

— Прошу.

Опасение Гоголя, что мерзлая рука его может дать неблагоприятный оборот его судьбе, было излишне: Свињин вовсе не подал ему руки, а опустившись в широкое резное кресло перед большим письменным столом, кивнул ему на простой соломенный стул рядом.

— Что скажете?

«Рыцарское бесстрашие» готово было опять покинуть Гоголя: несмотря на свой домашний костюм — халат, Свињин был в галстук и крахмаленном жабо; хохол над высоким лбом, а также узенькие полоски бакенбард около ушей и виски были тщательно причесаны; свежесбритое лицо лоснилось как атлас; слышался от них даже как будто запах розового масла; а этот острый, пронизывающий до глубины души взгляд из-под нависших бровей, — ну, сам великий инквизитор, или, по меньшей мере, квартальный над-

зиратель. Но и с квартальным связаться тоже — мое почтение!

— У меня небольшая вещица, — отвечал Гоголь возможно развязней, но сам не узнал своего голоса; а когда стал теперь торопливо снимать веревочку со своего свертка, то оледенелые пальцы никак не могли справиться с этим несложным делом.

— Да вы не трудитесь, — остановил его Свиньин, кладя ему на рукав руку. — Скажите прежде всего: это у вас не поэма?

— Нет, повестушка, быль...

— В прозе?

— В прозе.

— Слава Богу! Но не первый ли опыт?

— Первый в прозе — да-с.

— Та-ак. Посмотрим, чем порадуете.

Взяв из рук Гоголя свертки, редактор обрел веревку лежавшими на столе полуаршинными ножницами и развернул рукопись.

— «Вечер накануне Ивана Купала. Быль, рассказанная дьячком *** церкви», — прочел он заглавие и окинул затем сидевшего перед ним автора снисходительно-ироническим взглядом. — А вы сами, верно, из духовных?

Может быть, даже дьячок?

— Ах нет, я — дворянин и состою на коронной службе.

— На коронной? Вот это похвально, заработок все-таки верный, обеспеченный и дает возможность заниматься литературой *сop amore*[20]. Но как это вам в голову забрело вести рассказ от имени какого-то дьячка?

— А так, для большей натуральности. Я — уроженец Полтавской губернии, хорошо знаю тамошние обычаи, старинные поверья малороссов, и так как из малороссийского быта в русской литературе почти ничего еще не имеется...

— То вы и обогатили ее теперь этаким проstonародным малороссийским блюдцем? Что ж, иной раз и борщ, голубцы, вареники покушаешь не без удовольствия, буде хорошо приготовлены. Конечно, это не майонез, не ананасное желе! Вот кабы вы побывали в чужих краях...

— Да я был уже в Любеке, в Гамбурге...

— То есть в прихожей Европы? Это что! Я вот целые годы провел в Испании, в Америке, беседовал с королями, с президентами рес-

публик... Какой разгул молодой фантазии! И что же? Я сумел благоразумно сдержать себя; писал, но не поэмы, не повестушки, а «Взгляд на республику Соединенных Американских Областей», «Опыт живописного путешествия по Северной Америке», «Воспоминания на флоте»...

«Потому что на поэму, на повестушку у тебя пороху не хватило», — подумал Гоголь, но на словах выразил одно почтительное изумление:

— Представьте! Это просто непостижимо! Как это вы, право, воздержались? Но истинное призвание свое вы все-таки нашли только по возвращении в отечество, принявшись за издание «Отечественных Записок».

— В известном отношении — да, — согласился издатель-редактор, с задумчивою важностью покачивая головой. — Но главная цель моей жизни иная — капитальный труд...

— Смею спросить: какой?

— Полная история Великого Петра.

— Скажите пожалуйста! Этим вы заслужите глубочайшую благодарность потомства!

— Надеюсь.

Раздавшийся в передней робкий звонок прервал дальнейший их разговор.

— Очень рад был познакомиться, — сказал Свиньин, приподнимаясь с кресла и милостиво подавая Гоголю два пальца. — Оставьте рукопись и наведайтесь этак через месяц.

Спросить, нельзя ли зайти пораньше, — у Гоголя не достало духа: на письменном столе редактора громоздилась целая кипа рукописей, ожидавших еще, по-видимому, просмотра. В дверях передней он столкнулся нос к носу с каким-то другим молодым человеком. Оба стали извиняться.

— Как! Это вы? — приветствовал посетителя недовольный бас редактора. — Опять с вашей поэмой?

— Да-с, но я ее совершенно заново переделал... — залепетал молодой человек.

— Избавьте! Избавьте! Сказано ведь вам раз навсегда, что поэм я не принимаю.

— Но я прошу только беспристрастия, справедливости...

— Несправедлив ты с автором — он в претензии; справедлив — тоже в претензии. Нет уж, прошу вас, избавьте!

«Хорошо, однако, что у меня не поэма, — говорил себе Гоголь, спускаясь с лестницы. — Но не угодно ли оставаться в неизвестности целый месяц, даже пять недель: принимает он ведь только по воскресеньям; а в декабре 31 день: стало быть, явиться можно не раньше пятого воскресенья; а сунешься раньше, так замахает и на тебя руками: „Избавьте, избавьте!“

На пятое воскресенье, еще за полчаса до приемного часа, Гоголь поднимался по той же лестнице, но с каждой ступенью шаг его замедлялся; сердце все более сжималось, точно он всходил на эшафот. И в самом деле ведь, какой интерес для образованного читателя в досужих рассказях какого-то сельского дьячка? Неси, значит, голову безропотно на плаху и принимай удар...

— Прием еще не начался, — объявил казачок, удивленный такому раннему посетителю.

— Ничего, я обожду.

Сердце в подсудимом совсем остановилось. Будь что будет!

Вдруг на пороге своего святилища появил-

ся сам судья и палач. Но палач ли? Грозные черты его светлы, на губах играет благосклонная улыбка, и навстречу гостю протягиваются уже не два перста, а вся длань.

— Аккуратны, как немец.

Сердце в груди у Гоголя разом встрепенулось и ёкнуло.

— Побывал у немцев — оттого-с. Вы изволили прочесть мою рукопись?

— Прочел.

— И?..

— И сдал в набор.

— В набор?!

Бывают в жизни каждого из нас минуты беспредельной, безумной радости, искупающие целые годы горьких испытаний, разочарований. В первое мгновение Гоголь словно даже не понял, не смел понять, что значит „в набор“; в следующее — он готов был кинуться на шею к благодетелю-редактору. Но тот окатил его уже ведром холодной воды, перейдя в небрежно-деловой тон:

— Корректуру я вам не посылаю, потому что, сказать не в обиду, — правописание у вас довольно-своеобразное.

— За правописание свое я не стою... — смущенно пробормотал Гоголь. — Но как вы нашли слог мой, идею рассказа?

— В слогe вашем есть также кое-какие недочеты, а что до идеи, то какая, помилуйте, идея в этакoй народной небылице? То ли дело новейший роман Рафаила Зотова — „Таинственный монах“! Читали, конечно?

— Читать-то читал; но, признаться...

— Как! Он вам не нравится?

— Не очень, во всяком случае, гораздо менее нового романа господина Загоскина.

— „Юрия Милославского“? Гм... Вообще-то им многие зачитываются. Жуковский за ним целую ночь глаз не сомкнул. Пушкин поздравил автора восторженным письмом. Но „Таинственному монаху“ я лично все-таки отдаю предпочтение: он будет читаться еще тогда, когда о Загоскине, а тем паче о вас не будет уже и помину. Ну, да не всякому же быть большим талантом; спасибо, коли Господь наградил и маленьким дарованьем. Пишите, пишите, молодой человек; мы вас не оставим! Главное же — не гонитесь за гонораром. Пишите не ради денег, а ради славы. Для по-

ощрения вы будете получать бесплатно журнал. Вот вам сейчас январская книжка, вот и на дальнейший билетик к Ленину: можете сами заходить в магазин.

„Не гонитесь за гонораром“! Завернул заковыку! Ну как тут самому начать о гонораре? А вдруг не сойдемся в цене, и вынет он рукопись из набора: „Получите обратно“. Когда напечатает, ну, тогда будет еще время сторговаться.

— Покорнейше благодарю вас, — сказал Гоголь, принимая книжку и абонементный билет. — Весь рассказ, значит, будет напечатан в февральской книжке?

— Нет, я его разделил на два приема: хорошего помаленьку!

— А могу я рассчитывать также на несколько оттисков?

— Извольте, так и быть. Даю я их одним постоянным сотруднику, но как начинающему-то писателю не похвалиться перед друзьями своей первой ласточкой?

Свиньин покровительственно потрепал нового сотрудника по плечу.

— А фамилию вашу выставить полностью

или одни только инициалы?

— Не знаю, право... Может быть, лучше без всякой подписи?

— Пожалуй, еще лучше. Одна ласточка не делает весны. Неравно обрежут крылья...

... - Что с тобою случилось, Николай Васильевич? — спросил Прокопович полчаса спустя входящего к нему в комнату приятеля. — Сияешь как месяц, выступаешь как балетмейстер...

— Да я готов теперь такие па отвертывать, — был ответ, — каких ни один балетмейстер и во сне не отвертывал!

— Не пожаловали ли тебе Святополка?

— Подымай выше!

— Еще выше? Уж не Льва ли и Солнца?

Вместо дальнейшего ответа Гоголь положил на стол перед приятелем бережно, как святыню, полученную сейчас от редактора новенькую книжку „Отечественных Записок“. Прокопович с недоумением взглянул на книжку, потом на Гоголя.

— Ты подписался?

— Нет, получил бесплатно и впредь буду получать.

— За какие заслуги?

— А ты все не догадываешься? Прокопович вскочил со стула.

— Неужели как сотрудник журнала?

— Похоже на то.

— Ну, поздравляю, голубчик, поздравляю!

И Гоголь очутился в объятиях восторженного друга.

— Нет, каков гусь, а? — говорил тот. — Хоть бы словечком заикнулся! Не предрекали я тебе еще в Нежине, что из тебя выйдет поэт?

— В данном случае я заявил себя не поэтом, а прозаиком-беллетристом.

— Ого! Это еще солидней, почтенней. Любопытно прочесть...

И, схватив журнал, Прокопович стал быстро его пролистывать.

— И не ищи, — остановил его Гоголь, — рассказ мой станет печататься с февральской книжки.

— А много ли ты взял за него?

— О гонораре у нас пока еще не было речи.

— Ну, так! Смотри, не продешеви! Но расскажи-ка теперь, расскажи, дружище, как бы-

ло дело...

Глава одиннадцатая «БИСАВРЮК»

Начиная с 1 февраля, Гоголь чуть не каждый день наведывался из департамента в магазин Слёнина: не вышла ли февральская книжка «Отечественных Записок». В ожидании же он написал письмо к матери, где, жалуясь на то, что «жалованья получает сущую безделицу» (с января ему назначили по 30 рублей в месяц) и что «весь доход его состоит в том, что иногда напишет или переведет какую-нибудь статейку для гг. журналистов» [21], умолял доставлять ему по-прежнему «сведения о Малороссии или что-либо подобное».

«Это составляет мой хлеб, — писал он. — Если где-либо услышите какой забавный анекдот между мужиками в нашем селе, или в другом каком, или между помещиками, сделайте милость, опишите для меня, также нравы, обычаи, поверья. Да расспросите про старину хоть у Анны Матвеевны или Агафьи Матвеевны, какие платья были в их время у сотников, их жен, у тысячников, у них самих,

какие материи были известны в их время, и все с подробнейшею подробностью; какие анекдоты и истории случались в их время смешные, забавные, печальные, ужасные. Не пренебрегайте ничем: все имеет для меня цену... Нет ли в наших местах каких записок, веденных предками какой-нибудь старинной фамилии, рукописей стародавних про времена гетманщины и прочего подобного?»

Наконец, уже на седьмой день слёнинский приказчик подал ему желанный номер:

— Сейчас только из переплетной.

И точно, книжка была совсем еще сырая, благоухала не розами и ландышами — экая невидаль! — а свежими типографскими чернилами.

Но, Творец Небесный, что это такое? Название переименовано и вдвое длиннее: «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви».

И почему «Бисаврюк», и не «Басаврюк», как в оригинале? Верно, опечатка. Да нет же, и в тексте везде «Бисаврюк». Прошу покорно!

Не спросясь автора, меняет даже имена. Нет ли и других еще поправок?

В кармане у Гоголя оказался перочинный ножик, с помощью его страница за страницей были тотчас разрезаны.

Так ведь и есть! Опять переделка, совсем искажающая смысл! Вот вставка, а вот пропуск... Экая подлая манера! Начинаящий автор, так можно у него, значит, вырезывать целые куски мяса, — не закричит: «Караул!». Нет, сударь мой, извините, закричим!

С уликой своей под мышкой оскорбленный автор выбежал из магазина. Остановился он не ранее, как у подъезда своего обидчика, и то лишь потому, что наткнулся тут на его казачка, выскочившего без шапки на улицу.

— Что, барин твой у себя?

— У себя-то у себя, но нынче не воскресенье...

— Все равно. Я должен видеть его сию же минуту. Дверь в переднюю открыта?

— Открыта-с, но без доклада никого не приказано впускать. Обождите меня на лестнице.

— А ты куда?

— В ренсковый погреб за портером для Николая Ивановича.

— Для какого Николая Ивановича?

— Для господина Греча.

— Соиздателя Булгарина по «Северной Пчеле»?

— А это уж нам неизвестно. Так, Бога ради, господин, обождите на площадке. Не то будет мне встрепка!

— Значит, судьба: против судьбы, брат, не пойдешь!

Дверь в квартиру редактора, действительно, оказалась только притворенной. Тоже судьба, видно; доберешься до него без звонка, так поневоле примет. Пускай наговорится сперва с гостем, а там с глазу на глаз...

Оставив плащ в передней, Гоголь на цыпочках пробрался в гостиную. Так как день был не приемный, то хозяин не нашел нужным замкнуться наглухо в своем кабинете, и дверь туда была полуоткрыта, так что к Гоголю в гостиную ясно доносилось оттуда каждое слово.

Подслушивать, собственно говоря, не со-

всем благовидно; но как же быть-то? Государственных тайн у них, верно, нет; а чуть что, так можно заткнуть уши.

— Дельвиг в первом же номере своей «Литературной Газеты» заявил ведь, что в ней не будет места критической перебранке, — басил Свиньин.

— Человек он, точно, безобидный, ни рыба ни мясо, — проскрипел в ответ незнакомый Гоголю голос, — очевидно Греча. — А все ж таки коли дело коснется его лучшего лицейского друга, то как ему не вступитьсь? Но нашествие грозит нам еще с другой стороны: Вяземский, такой же приятель Пушкина, но вдвое зубастее, замыслил, слышно, тоже новый журнал — и пойдет перепалка! Ведь Фаддей-то Венедиктович у меня, вы знаете, какой бедовый: швырнут ему в лицо ком грязи, а он назад десять.

— Да, он высоко держит знамя пасквилей. Но вы-то, Николай Иванович, аккуратный, благоразумный немец, отчего за фалды его не попридержите? Сами ведь вы с Пушкиным никогда особенно не враждовали?

— О, нет. Лично я к Александру Сергеевичу

решительно ничего не имею, но из-за этой вздорной журнальной перебранки отношения наши стали несколько натянуты. Тут как-то случай свел нас в магазине Белизара[22]. Он издали поклонился мне довольно принужденно. Я же подошел к нему с улыбкой: «Ну на что это похоже, Александр Сергеевич, что мы дуемся друг на друга, точно Борька Федоров с Орестом Сомовым?» Он рассмеялся — вы знаете ведь его славный, задушевный смех: «Очень хорошо!» Это его любимая поговорка. Пожали друг другу руку и приятельски разошлись. Беда вот только, что он терпеть не может моего ляха и при первом же случае дернет его эпиграммой. А то, вы знаете, с каким гонором: сейчас в раж, в бешенство! Мне же потом для компании расхлебывать с ним кашу!

— И то ведь вы еще на днях с ним да с Воейковым, как слышно, отсиживали на гауптвахте?

— Отсиживали, да только врозь: я на дворцовой гауптвахте, Булгарин в новом Адмиралтействе, а Воейков — в старом. Рассадили молодцов, как подгулявших мастеровых, что-

бы неравно не вцепились еще в прическу друг другу. Хе-хе-хе! И смех и грех!

— Да неужто все только, как рассказывают в городе, из-за «Юрия Милославского»?

— Все из-за него. Роман сам по себе хоть куда...

— Так зачем же вы нападали на него?

— Я-то нападал? И не думал; все это — дело рук моего alter ego (второе я).

— Булгарина? Но кто, скажите, дал ему оружие в руки? Кто указал ему в романе на некоторые промахи исторические и грамматические? Не первый ли наш грамотей Николай Иванович Греч?

— Да как же, согласитесь, не выручить коллегу? Печатает же он сам теперь роман из той же эпохи

«Дмитрий Самозванец»; а тут вдруг предвосхитили у него лавры не только в публике, но и во дворце: государь жалует Загоскину брильянтовый перстень! Стало быть, ему, Фаддею Венедиктовичу, не видать уже перстня как своих ушей, и читать-то его «Самозванца» никто, пожалуй не станет.

— М-да, полное основание разнести сопер-

ника по косточкам. Ваш коллега, я вижу, стоит на высоте задачи самопрославления. А Воейков, как старинный враг его, ввязался за Загоскина?

— Ввязался, но Булгарин не остался в долгу: вылил на него самого целый ушат отборной брани. Тут шефу жандармов было поведено внушить обеим воюющим сторонам, чтобы сложили оружие. Бенкендорф же, на беду, поручил эту миссию Максиму Яковлевичу...

— Фон Фоку?

— Да, а фон Фок — человек, как вам известно, крайне деликатный, передал им об этом в самой мягкой форме, прося не называть хоть своих противников по имени. «Слушаю-с», — сказал Фаддей Венедиктович, да накатал такую отповедь Воейкову, что в тот же день мы все трое очутились на трех разных гауптвахтах.

— Вам, Николай Иванович, это было, в полном смысле слова, в чужом пиру похмелье.

— Нет, не могу жаловаться; время я провел весьма даже приятно. Караул на дворцовой гауптвахте был от Преображенского полка,

который только что вернулся из турецкого похода, и дежурным офицером был мой добрый знакомец по английскому клубу — князь Несвицкий. Он сидел как раз за столом с другими офицерами. «Еще прибор!» — крикнул он, и меня накормили придворной кухней так, как мне еще не случалось. Вечером же брат мой привез мне из дому подушку и хорошую книгу. Но едва только я растянулся на диване, как явился флигель-адъютант от его величества с разрешением ехать домой. Я устроился было так удобно, что мне просто жаль уже было расстаться с моим диваном и книгой!

— Но домашние-то ваши, я думаю, за вас немножко-таки трепетали?

— Немножко — да, но тотчас успокоились, когда я вошел к ним, весело припевая:

*Wer niemals in der Wache war,
Kennt dies Vergniigen nicht![23]*

Тут внимание Гоголя было несколько отвлечено от занимательного диалога шумом в передней: сперва застучали там сапожища казачка, потом хлопнула пробка. Проходя с

бутылкой портера и двумя стаканами на подносе через гостиную, казачок не заметил Го голя, усевшегося в тени полуоткрытой двери, да и забыл уже, должно быть, о его существовании, потому что не доложил об нем барину и, выходя обратно из кабинета, не притворил двери.

— Ну, а ведь других-то арестантов не так угостили? — говорил между тем редактор-хозяин редактору-гостю.

— Какое! Моего Фаддея оставили, как школьника, даже вовсе без обеда. Он ведь большой гастроном и, как нарочно, был позван в этот день на обед к Прокофьеву...

— Директору российско-американской компании?

— Да. Но лишь только пошли к закуске, как ему подают конверт от Бенкендорфа: пожалуйста в Адмиралтейство! Елена же Ивановна, как нежная супруга, узнав об аресте своего благоверного, покатила утешать его, да по ошибке попала не в новое, а в старое Адмиралтейство. «Здесь, — спрашивает, — сидит сочинитель, что книжки пишет?» — «Здесь, сударыня: извольте войти». Входит, в

потемках не разглядела, бросается на шею арестанта. «Какими судьбами, Елена Ивановна?» — удивляется тот. «Тьфу, тьфу! Это каналья Воейков, а мне надо моего мужа, Булгарина».

И рассказчик и слушатель залились дружным смехом; затем чокнулись стаканами.

— Да здравствует Елена Ивановна! — провозгласил Греч. — Однако, правду сказать, каков ни будь Воейков, а мне его все же маленько жаль. Сама судьба ведь его жестоко покарала. Видели вы его с тех пор, как он упал с дрозжек и расшибся?

— Нет, не случилось.

— Совсем беднягу скрючило. Явился он тогда к Башуцкому, дворцовому коменданту, вслед за мной, когда тот назначил мне арест на дворцовой гауптвахте. Гляжу — Боже милостивый! Сгорбился, хромлет, как инвалид, сам худой, желтый из себя, как высохший лимон, а поперек носа и щеки широкий черный пластырь. «Ваше высокопревосходительство, — говорю я Башуцкому, — я, благодаря Бога, здоров и могу просидеть где угодно. Господин же Воейков, как видите, слаб и болен;

холод и сквозной ветер повредят ему. Лучше предоставьте ему место на здешней гауптвахте, где тепло и сухо».

— А Башуцкий что же?

— «Не беспокойтесь, — говорит, — я и господина Воейкова посажу в теплое место». Воейков же, кажется, был искренне тронут моим участием, потому что обнял меня: «Ah, mon ami, je vous reconnais a cette generosite! (О, мой друг, я узнаю вас по этому великодушию!) Не то, что ваш друг и приятель — Булгарин». Я стал было оправдывать Булгарина. «Нет, нет, пожалуйста, не защищайте его! — перебил меня Воейков. — Брани он меня как литератора — брань на вороту не виснет. Но зачем он издевается над моим убожеством?» И, говоря так, он ткнул пальцем на свой приплюснутый нос за черною печатью. «Да когда же, — говорю, — он издевался?» — «А намерен еще на Невском. Увидев меня с этим украшением, он за десять шагов еще крикнул мне при публике:

И трауром покрылся Капитолий!
[24]»

Как ни крепился Гоголь, но когда тут из кабинета донесся опять громкий смех обоих собеседников, он также расхохотался.

— Это ты, Капитошка? — строго забасил хозяин и выглянул сам в гостиную. — Вы как сюда попали? — удивился он, увидев вскочившего с места Гоголя.

Гоголь, запинаясь, начал оправдываться. Но в это время за спиною Свиньина показался его гость, высокий брюнет, горбоносый и толстогубый, с густыми бровями и в очках, придававших его выразительным чертам вид ученого.

— А я не хочу мешать, Павел Петрович, и прощусь уже с вами, — заговорил он. — Но какие бы бури впредь ни волновали наш литературный омут, между нами по-прежнему, надеюсь, сохранится дружественный нейтралитет?

— Само собою, — отвечал Свиньин, любезно провожая гостя в переднюю. — А преехидно, однако ж, шутит ваш коллега:

И трауром покрывлся Капитолий!

Оба опять расхохотались и крепко потрясли друг другу руку. Когда тут дверь за Гречем

наконец закрылась, хозяйин с серьезным уже видом обернулся снова к молодому посетителю:

— Что, вам не выдали разве книжки у Сленина?

— Выдали, но я хотел объяснить по поводу тех поправок, которым подвергся мой рассказ...

— Э, милый мой! Такие ли еще поправки вынуждены мы делать! Ваша рукопись, можно сказать, вышла довольно суха из воды.

— Однако авторам надо же знать, что у них переделывается, они, так сказать, отцы своих умственных детищ...

— То-то и горе, что господа отцы этих умственных, а чаще безумных детищ ослеплены их небывалыми совершенствами и всякую глупость детища считают перлом остроумия. А вы и фамилию-то свою даже скрыли; стало быть, добровольно отказались от своих родительских прав.

— Но одного-то права, Павел Петрович, вы все-таки не можете отнять у отца: окрестить своего ребенка так или иначе.

— А чем же не хорошо новое заглавие ва-

шей повести?

— Во-первых, это не повесть, а быль...

— Да что такое быль? То, разумеется, что было, а рассказанная вами чертовщина разве была когда-нибудь на самом деле?

— По преданию народному — была.

— А у меня что же сказано в скобках? «Из народного предания». Вернее даже было бы сказать, «из бабьих сказок», ибо что такое, в сущности, такие народные предания, как не вздорные небылицы, передаваемые деревенскими бабами детям и внучатам. Ну-с, а еще что?

— Потом три звездочки, которые были поставлены у меня вместо названия церкви рассказчика-дьячка, вы прямо заменили совершенно случайным названием: «Покровской церкви».

— Случайным, но для читателей все-таки как будто достоверным. На офицерских эполетах звездочки обозначают хоть чин; а в книге они никакого резона не имеют.

— Наконец, вы зачем-то прибавили к моему заглавию еще второе — «Бисаврюк»...

— А это, любезнейший, в современном

вкусе. Нынче что ни роман, то двойное заглавие; хоть бы у Загоскина: «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Публика к этому привыкла, требует этого, а мы, метрдотели литературы, должны прилаживаться к ее требованиям. Кто у вас главное действующее лицо? Бисаврюк. Так ему и честь стоять во главе рассказа.

— Да он у меня вовсе и не Бисаврюк, а Басаврюк.

— Ну, это у вас просто обмолвка.

— Во все не обмолвка.

— Да бес, скажите, как по-малороссийски?

— Бис.

— Так как же и было окрестить вашего бесовского человека, как не Бисаврюком?

«Сами вы Бисаврюк!» — готов был Гоголь бросить в лицо деспоту-редактору.

— В отдельном издании я, во всяком случае, восстановлю весь мой первоначальный текст! — заявил он вслух.

— Это ваше дело, — сухо отозвался Свинын. — За сим будьте здоровы.

— Виноват, еще один пункт. Я просил бы хоть вторую-то половину моего рассказа на-

печатать без всяких изменений.

— Не обещаю: исправления уже сделаны.

— Но покажите мне их, по крайней мере, пришлите мне корректуру.

— И в этом, к сожалению, должен вам отказать: я по принципу не показываю авторам моих поправок до печати.

— Но это... это... не знаю, как и назвать...

— Самоуправство? А кто, скажите, отвечает перед читателем за содержание журнала: вы, авторы, или я? С того момента, что автор уступил мне право на рукопись, она составляет мою полную собственность.

— На правах покупателя? А смею ли я в таком случае спросить вас, Павел Петрович, какой вы положите мне гонорар?

Павел Петрович оглядел вопрошающего большими глазами.

— Вам гонорар? Да разве между нами было говорено о гонораре хоть полслова?

— Пока не было; но вы платите же другим вашим сотрудникам?

— По предварительному уговору — да. А так как между нами такого уговора не было...

— Но я думал...

— «Я думал» говорят обыкновенно люди, которые в свое время ничего не думали. Да за первые опыты, надо вам знать, вообще и не платят в журналах. Молодые авторы, напротив, должны еще за особую честь почитать появиться в печати. Мильтон — не вам, кажется, чета? — и тот получил за свой «Потерянный рай» всего-навсего десять фунтов стерлингов.

Гоголь чувствовал, как в груди у него закипает, как лицо его побледнело и задергало.

— С Мильтоном я и не думаю равняться, — пробормотал он дрожащим голосом. — Но не даром же я трудился?.. Я хоть и состою на службе...

— Но получаете гроши и нуждаетесь в средствах пропитания? — досказал Свиньин, которому, видно, стало жаль голодающего молодого человека. — В таком случае, ради первого знакомства, я готов вам помочь. Но имейте в виду, что это отнюдь не гонорар, а так — пособие нуждающемуся собрату.

И с этими словами он повернулся к кабинету, чтобы пойти за деньгами. Гоголя взорвало.

— Благодарю вас! Милостыни я не просил и не возьму...

— О, молодость, молодость! Самолюбие заговорило. Впрочем, в авторе самолюбие не последнее дело; будете хоть стараться отделывать свои вещи по мере сил и умения, чтобы никто не придрался. А что до оттисков, то они будут доставлены вам прямо из типографии на дом. Капитон! Подай-ка господину шинель. Эге! Да она у вас подбита, я вижу, ветром? Какой вы еще ветреный молодой человек! Ведь на дворе градусов двадцать, если не больше.

Гоголь на это ничего не ответил. Зимней шинели у него, действительно, не было, хотя он еще в октябре успокаивал мать, что «по милости Андрея Андреевича (Трощинского) имеет теплое на зиму платье». Уже по миновании морозов, в апреле месяце, он как-то невольной проговорился, что «не в состоянии был сделать нового не только фрака, но даже теплого плаща» и «отхватал всю зиму в летней шинели».

Застудил ли он теперь на морозе зубы, или нервы у него чересчур разгулялись, но домой

от Свинына он возвратился с жесточайшею зубною болью. Так избегнул он, по крайней мере, расспросов Прокоповича, которому молча сунул только новую книжку со своим «Бисаврюком».

— Моментально прочту! — воскликнул Прокопович. — Ах, Бог ты мой! Как быть-то? Ведь мне надо сейчас в театр за билетами на «Горе от ума»... Дают хоть одно только или два действия, но все-таки...

— И ступай, — пробурчал Гоголь. — Но для меня не бери.

— Да не сам ли ты был в восторге от пьесы в рукописи?

— Когда меня не мучил этот проклятый зуб!

— Так дай же его себе наконец вырвать! Во всяком случае, сперва проглочу тебя, а там, будет еще время, — закушу и Грибоедовым.

Духом «проглотив» рассказ приятеля, Прокопович рассыпался в похвалах.

— И заметь ведь, — заключил он, — твой «Бисаврюк» — единственная беллетристическая вещь в прозе, так сказать, краса и гордость всей книжки![25]

Гоголь ничего не отвечал; в душе же у него в это время созревало уже решение — не видаться более со Свиньиным.

Увидеться с ним ему, впрочем, и без того вряд ли бы пришлось: в том же 1830 году Свиньин удалился в свое имение в Костромской губернии, чтобы всецело отдаться своему вновь намеченному труду — истории Петра Великого. Возвратился он в Петербург только спустя восемь лет, чтобы приняться снова за издание «Отечественных Записок», но в следующем же 1839 году уже умер. Оконченная им история Петра так и осталась ненапечатанною.

Глава двенадцатая ОТ КАПИТОЛИЯ ДО ТАРПЕЙСКОЙ СКАЛЫ

Счастливы вы, читатель, если никогда не испытывали зубной боли, особенно ночью! Ноющий зуб не дает вам не только заснуть, но и остановиться на чем-нибудь мыслью. Мысль ваша, как пойманная птичка, бьется крыльями в стенки черепа, не находя ни в одном завитке мозга покойного места, пока к утру окончательно не выбьется из сил.

На другое утро после своего последнего объяснения с «Бисаврюком» Гоголь встал с тою же зубною и головою болью, да в таком подавленном настроении, что не глядел бы, кажется, на свет Божий! И в самом-то деле, не прав ли Свиньин, что народные сказанья, в сущности, — вздорные бабьи сказки? И не иметь иной цели жизни, как пересказывать этот чужой вздор! Это ли служение отечеству?

Прокопович, сидевший за утренним чаем вместе со своим приунывшим сожителем, по

деликатности своей не решился, конечно, выпытывать у него, что было у него с редактором: очевидно, что-то неладное! Но чтобы его несколько рассеять, стал рассказывать о вчерашнем представлении грибоедовской комедии. Вспоминая теперь отдельные сцены, он до того наконец воспламенился, что вскочил со стула.

— А знаешь ли что, Николай Васильевич? — воскликнул он. — Меня, право, подмывает тоже пойти в актеры! Все-таки живая деятельность; не то что возиться вечно с глупыми ребятишками...

— Или строчить глупейшие «отношения» и «предложения»! — прибавил глухим голосом Гоголь.

— А что, брат, отчего бы и тебе не попытаться счастья на сцене? У тебя-то талант несомненный...

— Ну да!

— Да, конечно. Забыл разве лавры, которые пожинал в Нежине на нашей школьной сцене?

— Этакая провинциальная любительская сцена и столичная императорская — две ве-

щи совершенно разные. Нашего брата и к дебюту не допустят.

— А ты поезжай прямо к директору театров, князю Гагарину. Спрос не беда. Гагарина очень хвалят.

— Легко сказать — поезжай! Я и адреса-то его не знаю.

— Адрес я тебе могу сказать — мне говорили как-то: на Английской набережной, дом Бет... Бет... как бишь? Бетлинга, верно! Там же при нем и его канцелярия. Эге-ге! — спохватился тут Прокопович, взглянув на часы. — На урок еще опоздаю.

Едва только он скрылся за дверью, как Гоголь кликнул Якима, чтоб подал новый фрак.

— Да что вы, панычу, с раннего утра в гости? Разве нынче нету службы? — удивился Яким, но не получил ответа.

Полчаса спустя Гоголь входил в парадный подъезд директора императорских театров князя Гагарина. От дежурного капельдинера узнал он, что его сиятельство не изволили еще выйти, но что секретарь их, господин Мундт, уже в канцелярии.

— Так проводи меня туда.

— Пожалуйте.

Княжеский секретарь, представительный на вид мужчина, разукрашенный и российскими и иностранными знаками отличия, так критически оглядел неприглядную фигуру подходящего к нему с неловким поклоном молодого просителя с подвязанной щекой, что у того смелости еще на пятьдесят процентов поубавилось. Да, этакий спутник светила первой величины знает свое место в небесном пространстве, не то что какой-нибудь проситель — случайная комета, залетевшая к ним из совершенно чужой сферы!

— В чем ваша просьба?

— Я желал бы поступить на театр.

— Вам придется подождать: князь еще одевается. Зевнув в руку, секретарь отошел к своему столу, еще раз зевнул, потянулся (видно, тоже не выспался) и нехотя стал перебирать свои бумаги.

Гоголь присел у окна, выходявшего на Неву. Опять жди своей участи, но уже последней! А злодей во рту не унимается, так и ноет, так и ноет!

— У вас зуб болит? — спросил Мундт, заме-

тив, что проситель, приложив ладонь к щеке, покачивается на стуле. — От окошка вам еще надует.

— Ничего-с...

— Нельзя ли предложить вам одеколону?

— Благодарствуйте. Пройдет и так.

Да, черта с два пройдет! Даже пульс внутри слышен, можно считать отдельные удары: раз, два, три, четыре... Ай-ай-ай! Так бы, право, и разгрыз подлеща!

Стиснув зубы, Гоголь нервно забарабанил пальцами по стеклу. Мундт слегка кашлянул, и Гоголь, сам испугавшись произведенного им шума, отдернул от окна руку.

Тут вошел дежурный чиновник и между ним и секретарем завязался оживленный разговор. Гоголь невольно насторожил уши: тема была для него самая животрепещущая — из той сферы, куда теперь были направлены все его помыслы.

— А молодец Рязанцев! — говорил дежурный чиновник. — Как он славно провел свою роль в вашей пьесе.

В его пьесе? Так вот какой это Мундт! На днях ведь еще стояла на афише трехактная

комедия «Жена и должность», переведенная с французского Мундтом. Он же, конечно, и есть тот Мундт, что перевел «Вечного жида» Эжена Сю. Оттого, вишь, так и ретив к казенной работе!

— А главное, имейте в виду, что он по обыкновению не учил вовсе своей роли, — отозвался Мундт и прибавил, понизив голос: — Из-за этого ведь между нашим князем и Храповицким чуть не вышло целой истории.

— Это прелюбопытно! Что же у них было?

— А вот что. В самый день спектакля на генеральной репетиции моей пьесы Рязанцев не знал еще в зуб толкнуть и шел все время по суфлеру. Храповицкий же воображает себя все еще полковником Измайловского полка и давай распекать его по-солдатски: «Такой да сякой! Как же ты, братец, будешь вечером играть?» — «Ничего, Александр Иванович, как-нибудь сыграю». — «Как-нибудь! А я, инспектор театра, расхлебывай за тебя! Нет, любезный, ты меня извини: я тебя люблю, но всему есть мера. Нарочно вот приглашу князя Сергея Сергеевича: пуская на тебя полюбуется!»

— Храповицкий, очевидно, вас испугался, — усмехнулся чиновник.

— Меня?

— Да, как автора пьесы: что пожалуетесь князю и ему же, Храповицкому, будет нахлобучка. А что же Рязанцев?

— Тому и горя мало: «Дудки! — говорит. — Опять только страшает; князя нашего в русский театр и калачом не заманишь».

— Однако князь вечером был-таки в театре?

— Был. Рязанцев же узнал об этом не ранее, как в уборной, перед выходом на сцену. Вдруг к нему влетает впопыхах Каратыгин: «Ну, брат Вася, плохо твое дело! Гагарин в своей ложе. Верно, Храповицкий притащил ради тебя». Заметался мой Вася: «Голубчик! Отец родной! Зови скорей Сибирякова».

— Это суфлер?

— Ну да. И вот, пока Рязанцев одевался, гримировался, Сибиряков наскоро начитывал ему роль. А тут и режиссер: «На сцену, господа!» — «Ну, смотри, Иван, — говорит Рязанцев Сибирякову, — не зевай, выручи из беды! Надо его сиятельству туману напустить. Буду

знать роль, так угощу тебя завтра на славу».

— И знал ведь роль на зубок?

— По крайней мере, ни разу не запнулся, смешил публику до упаду. Сам князь раз-другой усмехнулся, а после пьесы говорит Храповицкому: «Что же это вы, Александр Иванович, наговорили мне на Рязанцева? Дай Бог всем так играть».

— А Храповицкий что же?

— Тот, совсем одуроченный, приходит в уборную, где Рязанцев переменял белье. «И черт тебя знает, Вася, — говорит, — что ты за человек! Ты так играл, что я просто рог разинул». — «А чего ж мне это и стоило! — отвечал Рязанцев. — От усердия я, видите, как мокрая мышь: ни сухой нитки».

— Подлинно комик! — расхохотался дежурный чиновник. — А все же, как хотите, Храповицкий всей душой предан своему делу. Ведь и до назначения к нам, будучи военным, он, говорят, неистовствовал на домашних спектаклях.

— Именно неистовствовал! Он такой же великий актер, как и великий чиновник. Вот, не угодно ли, полюбуйтесь, — указал Мундт

на вороха бумаг на столе, — все от Храповицкого! В год у него, знаете ли, сколько исходящих номеров?

— Ну?

— Ни много ни мало — две тысячи! А о чем, спросите? О пустяках, которые выеденного яйца не стоят! Все, что можно на словах сказать, непременно изложит на бумаге за номером. А мы тут разрешай, отписывайся!

— Но ведь князь Сергей Сергеевич, согласитесь, тоже очень требователен, — вполголоса возразил дежурный чиновник. — Он заставил, например, нас, театральных чиновников, дежурить на спектаклях, записывать в книгу всякие мелкие случаи. А отношение его к артистам? Даже премьерш не просит садиться...

— Потому что не желает делать различия. Он прекрасный семьянин и аристократ до кончиков ногтей; но в душе добряк, каких мало. Назовите мне хотя одного человека, кому бы он не исполнил справедливой просьбы? Не он ли завел посспектакльную плату артистам?

— Чтобы те не уклонялись от игры под ви-

дом болезни.

— Да, но и для поощрения. С его времени только они аккуратно получают свое жалование... Такого директора у нас еще не бывало, да и не будет!

Беседа двух театральных чиновников была прервана звонком из директорского кабинета. Дежурный поспешил на звонок и вслед за тем возвратился с приглашением Гоголю и секретарю — пожаловать к его сиятельству.

Гагарин принял безвестного ему просителя стоя и с таким гордым, почти суровым видом, что тот оторопел и на вопрос: «Что ему угодно?» — залепетал скороговоркой, очень некстати играя шляпой:

— Я желал бы поступить на сцену... Если бы ваше сиятельство нашли возможным принять меня в русскую труппу...

— Ваша фамилия?

— Гоголь-Яновский, или попросту Гоголь.

— Из поляков?

— Нет, из малороссов.

— А по званию?

— Дворянин.

— Что же, господин Гоголь, побуждает вас,

дворянина, идти на сцену? Вы могли бы служить.

— Я — человек небогатый, служба меня не обеспечивает; да я, кажется, и не гожусь для нее. К театру же я имею большую склонность.

— А вы уже играли?

— Играл — как любитель.

— Гм... Любители — это самоучки, как бывают самоучки живописцы, музыканты. Но часто ли, скажите, из этих самоучек выходят настоящие художники и виртуозы? Прежде чем выступить перед публикой, актер должен пройти целую школу театрального искусства. Он должен научиться владеть мимикой, жестами, особенно же голосом, чтобы каждое слово его доходило до слуха зрителей четко, членораздельно. «Ухо человека, — говорил еще Квинтилиан, — есть прихожая во внутренние покои — разум и сердце; ежели речь твоя входит в эту прихожую беспорядочно, как попало, то ее не пустят уже во внутренние покои».

— Но вдохновение, ваше сиятельство, экстаз...

— Экстазом, или, как у нас здесь принято

говорить, «натурой», вы, точно, произведете на большую массу некоторое впечатление, но истинных ценителей, поверьте мне, вы никогда не удовлетворите, потому что игра ваша будет отрывочная, неровная, наподобие лоскутков от роскошного наряда. Впрочем, если бы у вас оказался природный талант... Вы на какое амплуа думали бы поступить?

— Я сам, признаться, хорошенько еще не знаю, но драматические роли — самые благодарные...

— Драматические? — протянул директор театров, оглядывая с головы до ног кандидата на драматические роли, и на строгих губах его проскользнула легкая усмешка. — По фигуре вашей, да и по физиономии, мне кажется, для вас была бы гораздо приличнее комедия.

Но я вас не стесняю. Дайте господину Гоголю бумагу к Александру Ивановичу, — обратился Гагарин к своему секретарю, стоявшему тут же. — Пусть испытает его на драматические роли, а потом мне доложит.

Аудиенция кончилась. Выходя за Мундтом в канцелярию, Гоголь глубоко перевел дух и,

бодрясь, заметил:

— Вы отправите меня, стало быть, тоже за номером?

Княжеский секретарь не счел, однако, удобным понять шутку непризнанного еще актера и холодно отозвался:

— Да, я вам дам бумагу к инспектору русского театра. Вы застанете его теперь, по всему вероятно, в Большом театре на репетиции.

Так оно и было. Но репетиция еще продолжалась, и Храповицкий приказал провести Гоголя в театральную библиотеку. Две стены там были сплошь заняты высокими, до потолка, книжными шкафами, где за стеклом презаманчиво красовались стройные ряды книг в однообразных переплетах. Гоголя невольно к ним потянуло. Но едва только он прочел на корешках несколько заглавий, как в комнату вошли три актера. Не раз бывая в русском театре, Гоголь тотчас узнал в них теперь Борецкого, Азаревича и Каратыгина-второго. Верно, экзаменаторы или ассистенты! Но пока им было не до него; все трое были, казалось, в отличном настроении по поводу какого-то от-

сутствующего товарища.

— Ему-то приглашение из провинции? — со смехом переспросил Каратыгина Борецкий. — Прогремел, нечего сказать, на всю Россию!

— Если сам говорит, то чего же вернее? — отвечал Каратыгин и продолжал затем, подражая кому-то и голосом и движениями: — «Меня, — говорит, — там давно оценили и предлагают первые роли. Как ты думаешь, Петр Андреевич?» — «Чего же лучше? — говорю. — Бери обеими руками, на вторые роли ведь ты все равно не годишься».

— Прелестно! Что называется, не в бровь, а в глаз! — расхохотались оба другие актера.

Тут в дверях показалось новое лицо, мужчина средних лет; ероша волосы, он стал укорять смеющихся:

— Эх, господа, господа! Вам все шуточки да смешки! А были бы в режиссерской шкуре...

— Да какая тебя опять блоха укусила, Боченков? — спросил его Борецкий.

Боченков рукой махнул.

— Все Асенкова!

— Да ведь она нездорова?

— То-то, что выздоровела!

— Ну, и слава Богу.

— «Слава Богу!» А для чего я ночью-то, как брандмейстер на пожар, поскакал в типографию перепечатать афишу: «По внезапной болезни г-жи Асенковой...» и т. д.? Теперь же вот, извольте-ка, присылает записочку, что все же будет играть.

— Так ответь просто: опоздали, сударыня.

— Да, попробуй-ка! Потом полгода, небось, выноси ее милые капризы. У вас, артистов, самолюбие ведь дьявольское: и тому угоди, и другому; а про начальство и толковать нечего, особливо про такое, как наш Александр Иванович...

Говорящий был обращен спиною ко входу; но тут Борецкий сделал ему знак, и он быстро обернулся. На пороге стоял сам Александр Иванович Храповицкий, в котором, несмотря на партикулярное платье, по строгой выправке, а также по николаевским вискам и бакенбардам, нетрудно было признать бывшего воина.

— Что наш Александр Иванович? — переспросил он, насупясь; но присутствие посто-

ронного — Гоголя — его, видно, стесняло, потому что он обратился тотчас к последнему: — Господин Гоголь?

— Точно так.

— Князь Сергей Сергеевич поручил мне испытать вас на героические роли. Трагедии Озерова вам, без сомнения, хорошо известны?

— Как же. Я играл уже в его «Эдипе».

— Все у нас помешались на «Эдипе», точно это оригинал, а не переделка! То ли дело «Димитрий Донской»!

— Прикажете достать? — спросил Боченков, раскрывая один из книжных шкафов.

— Да, достаньте. Значение этой пьесы, впрочем, лучше всего выражено самим автором в посвящении покойному государю Александру Павловичу, — продолжал наставительно инспектор драматической труппы и, приняв поданную ему режиссером книгу, возвышенным тоном прочел почти все посвящение к трагедии: — «Димитрий, поразив высокомерного Мамайя на задонских полях, положил начало освобождению России от ига татарского. Ваше императорское величество возбудили мужество россиян на защищение

свободы европейских держав. Певец Димитрия, облагодетельствованный вашим благоволением, приемля смелость посвятить вашему величеству сию трагедию, завидует счастью тех певцов, кои чрез столетия, воспламенясь великими деяниями, воспоют кроткое ваше царствование, славу вашего оружия, благоденствие подвластных вам народов, и не будут порицаемы лестию. Благодарное потомство будет с восхищением внимать истине их песней...». «С восхищением внимать», слышите? — прервал свое чтение Храповицкий. — Посмотрим же, сумеете ли вы возбудить в нас то же восхищение. Вот, не угодно ли, действие четвертое: монолог Димитрия.

Проклятая робость! Да ведь как, помилуйте, не оробеть, когда судьями являются первые знатоки дела. Спасибо, хоть зуб уж не ноет. Святители! Да ведь щека все еще повязана черным платком. Самое подходящее украшение для драматического героя!

Одним движением Гоголь сорвал с головы повязку, но при этом коснулся пальцем щеки и к ужасу своему убедился, что у него начинается флюс. Оттого-то и зуб замолчал. Одно

другого стоит...

— Ну-с, что же? — нетерпеливо заметил главный судья.

*— Когда надежды нет, отечество
любезно,
Чтоб было мужество мое тебе
полезно,
Коль рабствовать еще тебе на-
значил рок,
Над бедствием твоим пролью не
слезный ток,
Но с жизнью моей последню кап-
лю крови...*

— Стой! — загремел вдруг Храповицкий. — «Не слезный ток!», «Последнюю каплю крови!». Ударение, сударь мой, вы забываете ударение! И не «слёзный», а «слезный». Дальше.

*— А ты, о, Ксения, предмет моей
Любови,
Без коей бытия сносить бы я не
мог,
Ты в мыслях от меня последний
примешь вздох.*

— Так, так! — вполголоса одобрил Храпо-

вицкий сделанное чтением ударение на слове «последний».

Когда же т. от дошел до стиха: «Но вместе вы в душе моей соединены» и последнее слово прочел «соединённые», — он в сердцах опять топнул ногой: — Соединены! Соединены! Ведь следующий-то стих — «священны», а не «священны»!

Гоголь еще более растерялся и, затрудняясь, как выговаривать слова, стал запинаться. Когда он так с грехом пополам дошел до конца монолога:

*Но шум... зрю Ксению: благополучный час!
Мамай, вострепещи: я с жизнью примиряюсь... —*

Храповицкий без обиняков выхватил у него из рук книгу и начал сам читать роль Ксении, стараясь придать своему хриплому баритону нежность флейты:

К тебе, о, государь, в отчаяньи являюсь...

Дочитав и окинув окружающих орлиным взглядом, он передал книгу обратно Гоголю.

Но на беду тому попалося опять заковыристое слово «мертв», которое он по привычке произнес «мёртв», тогда как соответствующая рифма была «жертв».

— Слабо, сударь мой, очень слабо! — обрывал его Храповицкий. — Я не могу допустить, чтобы так искажали великое творение. Актер должен весь, до ушей, так сказать, влезть в шкуру своего героя. Покойный Яковлев, месяц подряд играя Дмитрия Донского, во всякое время дня и ночи вел себя Дмитрием же. Когда он раз возвращался с загородной пирушки и часовой у заставы окликнул его: «Кто идет?» — он отвечал не обинуясь: «Князь московский Дмитрий Донской!»

— Но Яковлев давно уже, кажется, умер, и я, к сожалению, не имел случая его видеть, — робко позволил себе заявить Гоголь.

— Да Каратыгина-то большого все-таки видели? Он и ростом, и талантом, пожалуй, еще выше Яковлева.

— В этой роли тоже не видел.

— А хотите играть ее! Вам сколько, позвольте узнать, лет? Верно, уж за двадцать?

— На днях минет двадцать один год.

— Ну, вот, а Василию Каратыгину едва было восемнадцать, когда он дебютировал уже «Фингалом» [26]. Десять лет ведь прошло с тех пор, а помню, будто то было вчера: в плечах, в груди тогда он хоть не совсем еще развернулся, но роста был уже богатырского, лицом — красавец писанный, а греческий костюм носил так живописно, точно родился в нем. Что значит Божьею милостью пластик и трагик! Лишь только вышел на сцену, рта еще не раскрыл, — гром рукоплесканий, и пошел, пошел! В следующих ролях тот же фурор... Какые, бишь, то были роли? — обернулся Храповицкий к стоявшему тут же младшему брату знаменитого трагика.

— А «Эдип» Грузинцева и «Танкред» Вольтера, — отвечал Каратыгин-второй. — И могу добавить, что дирекция тогда же заключила с ним контракт на три года: жалованья две тысячи, при казенной квартире, с отоплением и с бенефисом.

— Слышите, молодой человек? Ну, да не будем судить по одной только пьесе. Испытаем вас еще в Расине. Из одиннадцати трагедий его последняя — «Гофолия» — несомнен-

но и наилучшая; а роль Иодая в ней самая выигрышная.

На лбу у Гоголя выступил холодный пот; ни о «Гофолии», ни о Иодае он, хоть убей, никогда, кажется, и не слышал.

— Смею ли я братья за выигрышные роли?.. — пробормотал он.

— Дай Бог справиться хоть со второстепенной? — презрительно досказал экзаменатор. — А вы какую бы предложили? — обратился он через плечо к ассистенту режиссера.

— Да ролька Ореста в «Андромахе», например, очень недурная.

— Верно. А перевод графа Хвостова бесподобен.

«Бесподобен»! Вот те на! В Нежине дубоватые вирши Хвостова приводились, бывало, только в пример изумительной безвкусицы, а тут изволь-ка выказать на них свое искусство! Но взялся за гуж — не говори, что не дюж. Из шкафа появился уже один из маленьких изящных томиков полного собрания произведений бездарного пииты.

Не раз упражняясь в Нежине с товарищами на школьной сцене, Гоголь испытывал

свои силы почти исключительно в комических ролях; читал он необыкновенно просто и естественно и производил этим неотразимое впечатление. Теперь он приложил все старания, чтобы прочесть точно так же, и сам испугался: фальшь, невозможная фальшь, оскорбляющая ухо! Естественность и простота шли прямо вразрез с искусственно-возвышенным содержанием французской псевдоклассической трагедии в напыщенных шестистопных ямбах русского закройщика и еще более выставляли ходульность пьесы. Читать даже совестно!

Храповицкий, впрочем, избавил его от дальнейших угрызений совести: на полуфразе он отнял у него опять книгу и стал сам читать, да как! Протяжно и раздирательно, с крикливыми возгласами, завываниями и всхлипами — словом, с так называемым классическим пафосом, который зоилы того времени переименовали весьма неэстетично в «драматическую икоту».

Неужели господа ассистенты так и не видят, что начальник их бессознательно, но беспощадно пародирует Каратыгина-первого, ко-

торый, благодаря счастливой внешности, до совершенства выработанной пластике и дикции, а особенно благодаря своему огромному таланту, заставлял забывать свой приподнятый тон и увлекал поголовно и «верхи» и партер?

Гоголь украдкой покосился на ассистентов и заметил, как Каратыгин-второй толкнул локтем в бок Борецкого, а тот закусил губу, чтобы не рассмеяться. Храповицкий же, ничего не подозревая, продолжал декламировать с прежним жаром.

— Вот как это читают! — в заключение похвалил он сам себя, утирая со лба фуляром выступившие от усердия крупные капли пота. — Ну, что, господа, что вы скажете насчет способностей нашего дебютанта?

Те переглянулись. Жаль ли стало дебютанта Каратыгину, тоже молодому и второстепенному актеру, или же ему, как преподавателю театрального училища, удалось уловить в чтении Гоголя некоторые задатки для комика, но он вступился за него:

— Не дозволите ли вы мне, Александр Иванович, ответить вам небольшой притчей из

недавнего прошлого? Одному из нашей брaтии («что в имени тебе моем?») пришла фантазия испытать себя в трагической роли короля. Его освистали. На другой день он играл сапожника в водевиле. Его вызвали. «Вот тут и угоди! — говорит он мне. — Вчера освистали, а нынче вызывают». — «А дело чего проще, — говорю я ему. — Короля ты сыграл как сапожник, а сапожника — как король».

Храповицкий одобрительно усмехнулся.

— Да, это бывает. Ну, что ж, так и быть, пощупаем у молодого человека и комическую жилку. Но «сапожников» в нашей труппе и так двойной комплект; возьмем не водевиль, а классическую же комедию. У тебя, Петр Андреевич, в старшем классе какую теперь проходят?

— «Школу стариков» Казимира Делавиня, — отвечал Каратыгин, залезая в боковой карман. — У меня, кстати, и текст с собой.

— Да ведь это опять стихи?.. — пробормотал Гоголь, взглянув в книжку. — Стихи связывают актера...

— Особенно если он ленив учить роль и привык приплетать к ней собственную дребе-

день? — подхватил Храповицкий. — Но комедия в стихах уже сама по себе выше, благороднее комедии в прозе... Да вот, Петр Андреевич, как преподаватель, вам это еще лучше меня объяснит.

Каратыгин, видимо польщенный, принялся излагать дебютанту разницу между «высокой» комедией, вызывающей своим тонким остроумием одобрительную улыбку у самых неумолимых судей партера, и комедией-водевилем, бьющей на грубые инстинкты невзыскательного райка.

— Плавная же, строго размеренная форма александрийских стихов наиболее отвечает высокой комедии, — продолжал он, все более воодушевляясь, — это, так сказать, классические костюмы и декорации языка, в которых юмор драматурга имеет возможность блеснуть и изящным складом речи, и звучной рифмой. Делавинь, один из сорока бессмертных французской академии, в своей «Школе стариков» достиг в этом отношении, можно сказать, виртуозности. Автор менее даровитый сочинил бы на ту же тему пошлый фарс, поднял бы на смех старика, имевшего глу-

пость на шестом десятке жизни жениться на двадцатилетней. У Делавиня же старик Данвиль возбуждает в зрителе невольное сочувствие, когда с оружием в руках вступает за молодую жену, наивную Гортензу. Противник его, молодой герцог, отлично владеет шпагой и обезоруживает слабосильного старика. А между тем, хотя победитель в конце концов оказывается вполне благородным человеком, симпатии и зрителя, и жены все-таки на стороне мужа. Вы сочувствуете ему даже более, чем его благоразумному старому приятелю, холостяку Бонару. Каков же должен быть для этого талант автора, чтобы не впасть в шарж, чтобы вывести перед вами всех действующих лиц живыми и притом милыми людьми?

— Слышите, молодой человек, слышите? — вскричал опять Храповицкий. — Вот, стало быть, что значит комедия. Теперь можете показать себя. Начните хоть с первой сцены.

На блестящем остроумием диалоге двух друзей-стариков, которым начинается комедия Делавиня, действительно была возмож-

ность показать себя. Но, к несчастью своему (а может быть, и к счастью, и, во всяком случае, к счастью русской литературы, которая иначе лишилась бы в нем, пожалуй, великого писателя), Гоголь прочел диалог опять по-своему, и Храповицкий по-прежнему остался недоволен.

— Нет, не быть вам актером! — объявил он свой окончательный приговор. — Гуси хоть и спасли Капитолий, но не всякому гусю лапчатому там место, потому что от Капитолия до... до этой...

— ...до Тарпейской скалы, — подсказал Каратыгин.

— До Тарпейской скалы, — Храповицкий с гордостью ткнул себя перстом в грудь, — один шаг.

— Но нельзя ли взять его хоть «на выход»? — замолвил было еще слово Каратыгин.

— Покорнейше благодарю! — перебил тут сам дебютант совещание «капитолийцев» и, низко опустив голову, поспешил покинуть «Капитолий».

Прощай, карьера артиста, навсегда, навсегда!

Момент был, казалось, чего грустней, безотрадней; но и в такие моменты, случается, усмехнешься. Когда Гоголь в вестибюле театра подошел к зеркалу, чтобы повязать себе опять опухшую щеку черным платком, ему разом припомнился вчерашний рассказ Греча про черный пластырь на лице злосчастного Воейкова, и он горько улыбнулся над самим собой:

И трауром покрылся Капитолий!

Глава тринадцатая КАК ИНОГДА ОДНА ЛАСТОЧКА ДЕЛАЕТ ВЕСНУ

Со счастьем иной раз что с очками: ищешь Сего по всему свету, а оно у тебя на носу. Получив в первых числах марта оттиски второй половины своего «Бисаврюка», Гоголь досадливо швырнул их в ящик стола: можно ли, в самом деле, хвастать перед кем бы то ни было такой искаженной работой? Поправки редактора, как черные пятна, бросятся тотчас всякому в глаза, а будут поставлены на счет автору!

— Но Трощинскому я на твоём месте все-таки преподнес бы экземпляр, — позволил себе заметить Прокопович. — Он, может, и читать не станет; но из чувства признательности, знаешь, тебе не мешало бы...

— Гм... что верно, то верно, — согласился Гоголь. — Он меня не раз выручал из беды. Придется, пожалуй, расщедриться и на переплет.

— И на генеральский — с золотым обре-

ЗОМ.

Так экземпляр в «генеральском» переплете был преподнесен. Два дня спустя от Троцинского пришел человек с приглашением пожаловать к генералу по нужному делу.

— Скажите-ка, мой милый, — начал Троцинский, — как вы, довольны вашей нынешней службой и как вами довольны? Можете ли вы рассчитывать в скором времени на штатное место?

Гоголь должен был признаться, что служба ему далеко не по душе, а надежды на штатное место у него пока никакой.

— Так вот что: вчера на куртаге я совершенно случайно встретился с одним старинным знакомым, Львом Алексеевичем Перовским, с которым разошелся уже лет десять. Тогда он был свитским полковником; теперь он гофмейстер высочайшего двора, вице-президент департамента уделов и метит в министры[27]. Слово за слово, спрашиваю я его, много ли у него дела. «И не спрашивайте, — говорит. — Недаром сказал государь, что Россия управляется столоначальниками. Не будь у меня подбора столоначальников, вовек бы

не управился. Но зато ведь они проходят у меня школу стилиста первого разряда — начальника отделения Панаева, о котором вы, может быть, уже слышали». — «Панаев? Панаев? — говорю. — Это не тот ли, что напечатал книжку каких-то идиллий?» — «Он самый». — «А что, Лев Алексеевич, — говорю, — у меня есть молодой родственник, чиновник, пописывает тоже в журналах, начинающий стилист; не примете ли вы его на выучку к вашему Панаеву?» — «Пришлите — посмотрим».

— Не знаю, как и благодарить вас, Андрей Андреевич, за вашу отеческую заботливость... — стал рассыпаться Гоголь.

— Само собою разумеется, — продолжал Андрей Андреевич, — что штатного места и там не дадут вам сразу, не испытав вас на деле. Завтра, как сказал мне Перовский, у него прием просителей, смотрите же, не опоздайте.

Еще в десятом часу утра Гоголь был в приемной департамента уделов. Наученный опытом, он дома загодя приготовил прошение на имя Перовского и вместе с полусотней других

просителей стал дожидаться своей участи. Не раз уже поглядывал он на стоявшие в углу, в огромном деревянном футляре, часы. Они пробили и десять, и одиннадцать, и двенадцать, когда с лестницы бомбой слетел курьер с толстым портфелем в руках, на лету бросил дежурному чиновнику: «Его превосходительство!» и настезь распахнул противоположную дверь — в департамент. Дежурный чиновник вспрянул с места и обдернул на себе вицмундир, сторож у входа вытянулся в струнку, просители отхлынули к стенам и чинно выровнялись в ряд. И вот в дверях показался сам Перовский. Начался обход.

Какая неприступная внушительность в осанке, даже в этом жесте, с которым он направляет свой золотой лорнет на того, кого удостоивает внимания! И вместе с тем какое умение обращаться с людьми! Каждого, будь тот в расшитом мундире или заплатанном зипуне, он выслушивает одинаково внимательно, но едва лишь проситель начинает распространяться, как он его мягко, но решительно обрывает:

— Будьте добры не уклоняться от дела. По-

метив прошение карандашом, он передает его стоящему тут же дежурному, а сам обращается к следующему просителю:

— В чем ваша просьба?

Дошла так очередь и до Гоголя. Но едва лишь он заикнулся о Троицком, как Перовский прервал его:

— Хорошо, обождите.

Обход кончился, и департаментская дверь поглотила начальника. Все просители, за исключением Гоголя, удалились. А вот и его вспомнили:

— Пожалуйте к его превосходительству. Перовский сидел у себя в кабинете за письменным столом и был погружен в чтение какой-то бумаги. Мешать ему в чтении, понятно, не приходится. Но тем лучше: лицо его ярко освещается из ближнего окна отражением солнечного света от светлой стены надворного флигеля, и черты его можно на досуге проштудировать во всей подробности.

Ему, пожалуй, лет сорок. Но болезненная, желтоватая бледность кожи, как пергамент обтягивающей его скулы, указывает на давно уже расстроенное пищеварение, а горькая

складка около сжатых губ и две глубокие морщины над переносьем придают его умным, выразительным чертам оттенок не то затаенной скорби, не то недовольства. Впрочем, временной причиной этого недовольства может быть содержание читаемой им довольно пространной бумаги; быстро пробегая страницу за страницей, он перевертывает их с видимою нервностью и по временам делает на полях синим карандашом пометки.

Дочитав бумагу, Перовский на минутку задумался, потом на первой странице черкнул несколько слов и позвонил. В дверях вырос курьер.

— В первое отделение!

Теперь только, казалось, Перовский заметил присутствие стоявшего у входа молодого просителя. Чтобы лучше рассмотреть его, он поднес опять к глазам лорнетку, затем чуть-чуть мотнул головой, чтобы тот подошел ближе.

— Гоголь-Яновский?

— Точно так, ваше превосходительство. Я выступаю лишь на жизненное поприще, и дядя мой Андрей Андреевич Трощинский, пом-

ня прежние добрые отношения...

Перовский движением руки остановил говорящего на половине фразы.

— У меня время, извините, очень дорого. Я вас попрошу отвечать только на вопросы.

Он задал Гоголю несколько формальных вопросов, на которые тот отвечал уже возможно коротко.

— Вы, говорят, пописываете в журналах? Запрещать вам этого я не желаю, хотя такая вольная литературная работа неизбежно должна вас рассеивать, отвлекать от служебного дела. Но повторяю: прямого запрета вам нет. Об одном предвараю вас: из того, что вы узнаете в этих стенах — из бумаг ли, со слов ли начальника и сослуживцев, — ничего отнюдь не должно появляться в печати. Отнюдь! Вы понимаете?

Гоголь отвесил самый почтительный поклон.

— Понимаю-с: не выносить сора из избы?

— Сора у нас здесь вообще нет. Но есть государственные и канцелярские тайны, не предназначенные для непосвященных.

И Перовский снова взялся за колокольчик.

— Владимира Ивановича! — лаконически приказал он влетевшему курьеру!

«Владимир Иванович, видно, знаменитый стилист Панаев», — сообразил Гоголь — и не ошибся.

— Вот, Владимир Иванович, племянник генерала Троцинского, Гоголь-Яновский, — обратился Перовский к входящему Панаеву, который хотя и был почти одних с ним лет, но, благодаря цветущему виду, открытому и оживленному лицу, казался значительно моложе. — Он служит в Министерстве внутренних дел, но желает теперь перейти к нам. Не возьмете ли вы его к себе?

— Комплект-то у меня полный, — сдержанно отвечал Панаев, — и вакансий пока не предвидится.

— Но молодой человек владеет литературным пером, напечатал уже что-то...

— Вот как!

Панаев быстро обернулся к молодому литератору:

— В Министерстве внутренних дел вы сколько получали?

— Тридцать рублей в месяц.

— То есть в год триста шестьдесят? У нас для начала его превосходительство назначит вам пятьсот рублей...

— Mais, mon cher... — запротестовал Перовский против такого «превышения власти» подчиненным и продолжал еще что-то вполголоса по-французски.

Панаев отвечал ему тихо, но по-прежнему непринужденно на том же языке, и слова его были, надо думать, достаточно убедительны, потому что Перовский пожал плечами и, взяв из рук Гоголя прошение, начертал на нем резолюцию, которую прочел затем вслух: «Принят на службу с вознаграждением по 500 р. в год из канцелярской суммы». Когда же Гоголь стал благодарить его, Перовский заметил, что благодарность свою он лучше докажет, если на деле оправдает доверие начальства.

Кивок с одной стороны, поклон с другой — и Гоголь на цыпочках выбрался из кабинета главного начальника.

— Теперь пожалуйста за мною, — сказал вышедший оттуда вслед за ним Панаев.

— Я должен благодарить и вас, Владимир Иванович...

— Не за что... Мое содействие ограничилось лишь тем, что я указал источник и наметил сумму. Больше давать новому человеку на первое время я не вижу оснований, да и канцелярские средства у нас не так богаты; в то же время, однако, я не желаю, чтобы служащие у меня голодали. Литературным трудом вы пока, я полагаю, ведь немного зарабатываете?

Гоголь, краснея, должен был признаться, что действительно маловато, но просил разрешения в знак признательности представить оттиск одного своего рассказа.

— Только, простите, у меня не имеется экземпляра в переплете... — извинился он.

Панаев снисходительно усмехнулся.

— Зачем же вам понапрасну расходовать-ся? Мне бы только познакомиться с вашим слогом. Впрочем, и то сказать, язык литературный и язык канцелярский — две совершенно разные вещи. Для канцелярского языка требуется особый художественный дар.

— Художественный?

— Да, настоящий чиновник — тоже своего рода художник слова и находит не только

нравственное удовлетворение, но и известное эстетическое удовольствие написать сложную бумагу красно и вразумительно. Нередко вчерашняя бумага вас уже не удовлетворяет; с каждым днем отыскиваются новые выражения и обороты. От вас самих теперь будет зависеть сделаться чиновником-художником, как я или вот тот столоначальник, Дмитрий Иванович Ермолов, под ближайшим руководством которого вы будете отныне работать.

Говоря так, Панаев рядом комнат провел Гоголя в свое отделение и здесь препоручил его столоначальнику-художнику.

Увы! Ни в этот день, ни в следующие Гоголь не мог усвоить себе канцелярского слога, а тем менее постичь его своеобразную «художественную» прелесть. Зато, благодаря своей редкой наблюдательности и умению отрывочные отзывы связывать в цельное представление, он в короткое время успел составить себе довольно ясное и полное понятие о своих двух главных начальниках: Перовском и Панаеве.

Перовский не был женат и, дойдя до того

возраста, когда общественные развлечения уже не развлекают, поставил себе, по-видимому, единственной целью жизни — достижение возможной власти и почета. Сам не обладая ни особенным даром слова, ни искусством письменно излагать свои мысли, он, как ум широкий, разносторонний, умел ценить чужой труд и выбирать себе сотрудников. К кому из них Лев Алексеевич благоволил — тому жилось за ним как за каменной стеной. Кто же впал у него раз в немилость — тому лучше было убираться по добру по здорovu. Не даром чиновники называли его шепотом между собою «Тигром Алексеевичем». В числе его избранных первое место давно уже занимал Панаев. Всякую мысль начальника он умел уловить налету и «оболванить» на бумаге так толково и изящно, что тому оставалось только обмакнуть перо да подписаться. Живя бобылем, Перовский в первые годы чуть не ежедневно зазывал к себе Панаева к обеду, чтобы в дружеской беседе с ним за отборными яствами французской кухни, за бургонским и сеньперо отводить душу. Но сидячим образом жизни он нажил себе желу-

дочный катар и, по совету врачей, волей-неволей должен был питаться одним куриным бульоном. Пришлось отказаться от гастрономических обедов и сходить с приятелем-подчиненным за вечерним чаем. Но вскоре и чай оказался запретным плодом. Злые языки, правда, прибавляли, что такое как бы охлаждение между обоими произошло вследствие проявляемой Панаевым чрезмерной самостоятельности, которой до крайности честолюбивый Перовский не переносил ни к ком из служащих. Как бы то ни было, Панаев по-прежнему оставался его первым советником и один из всех начальников отделений являлся к нему с докладом на квартиру каждое утро.

Отделение Панаева, хозяйственное и распорядительное, почиталось в департаменте самым ответственным; но, будучи, образцовым чиновником, Панаев в то же время, как рассказывали в департаменте, был и душою общества, отличался своими застольными речами, веселыми экспромтами и — что Гоголя особенно в нем привлекало — не был чужд литературе. «Как-то ему понравится мой „Би-

саврюк“? — думал Гоголь, когда представил Панаеву экземпляр своего рассказа. Но прошел день, другой, а Панаев не только не упоминает о „Бисаврюке“, но даже вообще как бы нарочно из деликатности не подходил к новому подчиненному. „Что он, может быть, и прочел да препроводил прямо по принадлежности под стол в бумажную корзину?..“

Тоскливое, горькое чувство стало опять закрадываться в душу Гоголя. Тут наступило воскресенье, и он вместе с Прокоповичем отправился к обедне в Казанский собор. Давно не молился он так горячо, и мольба его как будто была услышана: едва только он возвратился домой от обедни и облекся в свой неизменный халат, как в прихожей раздался звонок, а затем и звучный голос:

— Дома господин Гоголь-Яновский?

Господи Боже! Пресвятая Троица! Неужто сам Владимир Иванович? Не может быть!

Но сомнения уже не было: на пороге стоял Владимир Иванович. Задыхаясь от быстрого восхождения на четвертый этаж, он блестящими веселостью глазами озирался в скромном жилище своего подчиненного.

— Однако забрались вы на колокольню, точно и не дьячок, а пономарь.

Гоголь заметался по комнате и стал извиняться за свой затрапезный хитон.

— А я положительно рассчитывал застать сельского дьячка во фраке, в белом галстуке и таковых же перчатках! — со смехом отозвался Панаев, снимая сам перчатки и рассматривая свои посиневшие пальцы. — Не угодно ли: по календарю апрель, а на дворе чуть не крещенский мороз!

— Не прикажите ли чаю с ромом?

— Не отказался бы.

— Эй, Яким, скорее самовар! — крикнул Гоголь в прихожую.

Потом шмыгнул в комнату к приятелю:

— Ну, голубчик Красненький, беги-ка в погреб за бутылкой рома, да самого лучшего ямайского.

— Кого это ты так чувствуешь? — удивился Прокопович.

— А моего начальника отделения Панаева, который сделал мне честь... О, Владимир Иванович такой достойный, превосходный человек!..

— Ты бы потише: еще услышит! — предостерег шепотом Прокопович.

Гоголь подмигнул лукаво: „Да, может, так и нужно?“ — и возвратился к почетному гостю. Владимир Иванович в самом деле, видно, слышал его отзыв о себе, потому что как будто еще дружелюбнее осведомился, с кем это он живет, а затем тотчас прибавил:

— А рассказ-то ваш, знаете, хоть куда! Как взял я его вчера в руки на сон грядущий, так и не выпустил из рук, пока не прочитал от доски до доски. С первого взгляда на вас, признаться, я никак не ожидал...

— Что чорна корова биле молоко дае? — неожиданно досказал Яким, возившийся за столом с самоваром.

— Вот именно! — рассмеялся Панаев, приятельски кивая деревенскому острослову. — И какое ведь молоко: густое, неразбавленное! У вас несомненный оригинальный талант.

— Боюсь поверить... — пролепетал Гоголь, сам, однако, весь просияв. — Вы, Владимир Иванович, можете судить об этом, конечно, лучше всякого другого, потому что сами написали несколько прелестных идиллий.

— Прелестных ли — не знаю, но что они не совсем плохи, можно думать потому, что их одобрил сам Гавриил Романович.

— Державин?

— Да, великий Державин. Как это было, — я, пожалуй, в назидание поведаю вам, но наперед дайте мне немножко отогреться.

Отогревшись чаем с ромом, которого молодой хозяин подливал ему в стакан довольно усердно, Панаев разговорился вообще о своей молодости. Оказалось, что отец его, состоявший сперва на военной службе, адъютантом Румянцева (сына фельдмаршала) и флигель-адъютантом генерал-аншефа графа Брюса, а потом по гражданской судебной части в Казани и Перми, знал лично Державина, Новикова, Эмина, Княжнина и вывел в люди Мерзлякова. С Державиным он даже породнился, женившись на его родственнице.

— А идиллии ваши когда были вами написаны? — спросил Гоголь.

— В университете. Так как их товарищи мои хвалили, то я решил отдать их на суд Державина. Перебелив чистенько, я препроводил их к нему при почтительном письме.

Каково же было мне, представьте, получить такой ответ — я перечел его тогда столько раз, что до сих пор помню, как „Отче наш“, от слова до слова: „Мне не остается ничего другого, как ободрить прекрасный талант ваш; но советую дружески не торопиться, вычищать хорошенько слог, тем паче, когда он в свободных стихах заключается. В сем роде у нас мало писано. Возьмите образцы с древних, ежели вы знаете греческий и латинский языки, а ежели в них не искусны, то немецкие Геснера могут вам послужить достаточным примером в описании природы и невинности нравов. Хотя климат наш суров, но и в нем можно найти красоты и в физике, и в морали, которые могут тронуть сердце; без них же все будет сухо и пусторечие“... То же самое, — заключил Панаев, — могу со своей стороны посоветовать и вам, Николай Васильевич. Так ведь зовут вас, если не ошибаюсь?

— Точно так. Но с самим Державиным вы потом уже не встречались?

— Как же, прибыв из Казани, прямо с университетской скамьи, в Петербург, я не преминал быть у него с поклоном, но застал его

на закате дней и не мог уже почерпнуть у него нового вдохновения; а государственная служба вскоре меня вконец заполонила.

— Позвольте в этом несколько усомниться, — заметил Гоголь, — что на вас, Владимир Иванович, держится, можно сказать, весь департамент, — всем, разумеется, известно, но вы все-таки не сухой чиновник, а живой человек: отзывчивый на все доброе, благородное, прекрасное; не могу я, извините, поверить, чтобы с вашим литературным даром, который, как вы сами говорите, признал и Державин, вы могли устоять против соблазна писать иной раз и что-нибудь нечиновное.

В темных глазах Панаева вспыхнула искра как бы вдохновенного огня; но он тотчас поторопился потушить ее.

— И вы не ошиблись, — промолвил он с задумчивою грустью. — Кое-что у меня начато... историческая повесть из быта старообрядцев; но выйдет ли она еще в свет — Бог весть! [28] В моем возрасте искать новые пути жизни не приходится; я — чиновник в лучшем смысле слова, и слава Богу! Быть может, и я, подобно большинству людей, имеющих за собою кое-

какие заслуги, возношусь превыше моих заслуг; но это так естественно: каждый из нас очень хорошо знает, каких ему стоило трудов и усилий достичь того, что составляет его гордость, чужих же усилий и трудов мы не видим, а судим только по их конечному результату, представляющему для нас, людей посторонних, простой факт. Это я говорю о себе. Что же до вас, то вы стоите еще на пороге жизни, и все поприща перед вами открыты. К одному из них — литературе — у вас как будто особая склонность, — и благо вам, не ставьте вашего светоча под спуд! А чтобы вам можно было писать именно то, что вам более по душе, а не ради одного насущного хлеба, казенная служба даст вам этот хлеб, — пока черствый, а там, месяца через три, может быть, и с маслицем.

Гоголь весь так и встрепенулся.

— Через три месяца я могу рассчитывать уже на штатный оклад?

— Помощника столоначальника — да, если и со своей стороны приложите некоторое старание. А до поры до времени можете утешать себя хоть тем, что начинаете службу у

нас в столице в сносной обстановке, а не где-нибудь в провинциальном захолустье, где обязанности чернильниц исполняют помадные банки, где господа чиновники вместо стульев восседают на поленьях, а на столах среди дел красуются перед ними полуштофы водки с огурцами. Однако я у вас заболтался! Будьте здоровы.

Много ли приложил Гоголь стараний, чтобы заслужить штатный оклад, мы сказать не знаем; несомненно только, что Панаев не давал ему чувствовать служебное ярмо: изъяв его почти совершенно из ведения столоначальника, он поручал ему какие-нибудь неспешные работы от себя, и ровно через три месяца после зачисления Гоголя в состав чинов департамента уделов, именно 10 июля 1830 года, он был действительно определен на должность помощника столоначальника.

Глава четырнадцатая У ДВУХ ОТЦОВ ЛИТЕРАТУРЫ

Сам Гоголь глубоко ценил человека, не только позаботившегося об его пропитании, но и встретившего его «первую ласточку» как предвестницу весны. («Ганц Кюхельгартен» не мог, конечно, идти в счет: то была не ласточка, а скорее сорока, стрекотавшая с чужого голоса.)

«Начальник отделения мой, от которого я непосредственно завишу, В.И. Панаев — человек очень хороший, которого в душе я истинно уважаю, — писал он матери еще в начале июня. По скрытности своей, не посвящая ее еще в свои тайные замыслы, он слегка однако намекнул уже на них: — Литературные мои занятия и участие в журналах я давно оставил, хотя одна из статей моих доставила мне место, ныне мною занимаемое. Теперь я собираю материалы только и в тишине обдумываю свой обширный труд».

А как изменились душевное настроение нашего нелюдима, его отношения к ближним, весь его образ жизни! С «первой ласточкой» и в душе его повеяло весной.

«Я каждый почти день прогуливаюсь по дачам и прекрасным окрестностям, — рассказывал он матери в том же письме. — Нельзя надивиться, как здесь приучаешься ходить: прошлый год, я помню, сделать верст пять в день была для меня большая трудность; теперь же я делаю свободно верст двадцать и более и не чувствую никакой усталости. В девять часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пробываю там до трех часов; в половине четвертого я обедаю; после обеда в пять часов отправляюсь я в класс, в Академию художества, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить. По знакомству своему с художниками и со многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными. Не говоря уже об их таланте, я не могу не восхищаться-

ся их характером и обращением. Что это за люди! Узнавши их, нельзя отвя-заться от них навеки. Какая скром-ность при величайшем таланте! О чи-нах и в помине нет, хотя некоторые из них статские и даже действительные советники. В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа; в семь часов прихожу домой, иду к кому-нибудь из своих знакомых на вечер, — которых у меня гаки не мало. Верите ли, что одних однокорытников моих из Нежина до двадцати пяти че-ловек[29]. Вы, может быть, думаете, что такое знакомство должно быть в тягость? Ничуть; это не в деревне, где обязаны угощать своих гостей столом или чаем. Каждый у нас ест у себя, приятелей же и товарищей угощают беседою, которою всякий из нас быва-ет вполне доволен. Три раза в течение недели отправляюсь я к людям семей-ным, у которых пью чай и провожу ве-чер. С девяти часов вечера я начинаю свою прогулку, или бываю на общем гулянье, или сам отправляюсь на раз-ные дачи. В одиннадцать часов вечера гулянье прекращается, и я возвраща-

юсь домой, пью чай, если нигде не пил (вам не должно это казаться поздним: я не ужинаю); иногда прихожу домой часов в двенадцать и в час, и в это время еще можно видеть толпу гуляющих. Ночей, как вам известно, здесь нет; все светло и ясно, как днем, только что нет солнца. Вот вам описание моего летнего дня».

Описание дня, но не ночи; а сколько ночных часов уходило у него еще на его «обширный труд»!

На дворе стояла уже осень, а в четвертом этаже дома каретника Иохима в Столярном переулке по-прежнему царила весна.

«Служба моя идет очень хорошо; начальники мои все прекрасные люди»,

— повторялось и в письме от 1-го сентября.

За окном крутились хлопья первого снега, а в комнатке молодого писателя щебетала уже целая стая певчих птиц. Оставалось только выпустить их на свет Божий...

В один табельный день по извилистому каменному лабиринту бесконечных коридоров и переходов Шепелевского дворца (часть

нынешнего нового Эрмитажа, у Зимней канавки) шагал рослый, на славу откормленный придворный лакей в красной ливрее с галунами, а следом за ним семенил маленькими шажками очень невысокий, тщедушный и просто одетый молодой человек с довольно объемистым бумажным пакетом подмышкой.

— Да примет ли меня еще Василий Андреевич? Великолепный великан вполоборота через плечо оглянулся на скромного карлика.

— Василий-то Андреевич? Га! Да у них тут на лестнице каждое утро толчется всякого сброду и попрошайек видимо-невидимо. Никому нет отказу. Словно и не генерал!

Когда они поднялись в третий этаж, откуда-то из полутемного коридора донесся к ним прежалобный писк скрипки.

— Опять запиликал! — проворчал роскошный вожатый.

— Кто же это упражняется?

— Да Григорий, камердинер Василия Андреевича: купил себе, вишь, на толкучем скрипицу за два двугривенных и дерет теперь, знай, барину уши круглый день, а тот,

по ангельскому малодушию, хошь бы что!

С этими словами говорящий остановился у двери с надписью: «Василий Андреевич Жуковский» и дернул колокольчик с такой силой, что скрипка разом умолкла.

— Проведи-ка их благородие к своему барину, — величественно кивнул он открывшему дверь камердинеру на молодого гостя и, приняв, как бы из снисхождения, двугривенный, сунутый ему последним в руку, ушел опять своей дорогой.

Жуковский был в своем кабинете и стоял за длинной конторкой с пером в руке. На глум шагов он поднял голову, и задумчиво-важное лицо его осветилось приветливой улыбкой. Он сделал два шага навстречу молодому гостю и, как доброму знакомому, подал ему руку.

— Всякому новому посетителю я сердечно рад, — промолвил он, — приобрел, значит, еще одного доброжелателя. С кем имею честь?..

— Фамилия моя — Гоголь и вам ничего не объяснит; но у меня к вам рекомендательное письмо...

От кого было оно? Ответить на это мы не умеем: сведений о том не сохранилось. Да и не все ли равно? Податель письма нуждался не столько в рекомендации, сколько в предложении добраться до адресата. А тот, очевидно, так и понял, потому что, взглянув только на подпись, отложил письмо в сторону и ни словом не упомянул уже о писавшем.

— Присядьте, пожалуйста, — сказал он, пододвигая стул. — Устали, я думаю, поднимаясь на наши горные выси? Нашему брату холостяку чердашничать сам Бог велит; лишь бы устроиться поуютней. Особенную уютность жилищу придают, я нахожу, картины, к которым, как и к музыке, я питаю большую слабость. Ценю я не столько даже искусство живописца, сколько *Stimmung*, как говорят немцы, настроение картины. Вот хоть бы этот ландшафт кисти Фридриха — лунная ночь на еврейском кладбище — для знатоков не имеет, пожалуй, художественного значения, но для меня, дебютировавшего некогда кладбищенскою же элегией[30], эта картина — постоянный, неистощимый источник грустных, но улаживательных мечтаний.

Нет, какова доброта, деликатность! Нароч-но ведь с первых же слов вводит тебя в свои личные, самые интимные интересы, чтобы ты «оттаял». По виду-то он вовсе не похож уже на мечтателя: телом приятнодороден, вместо романтических кудрей — почти ого-ленное темя едва прикрыто редкими прядя-ми шелковисто-мягких волос, а что до мор-щин, этих строк, которые вписываются неумолимою рукой судьбы на каждом челе, и между которыми опытному взору нетрудно прочесть много тяжелого и горького, то на молочно-белом лице поэта-романтика, несмотря на его зрелый возраст[31], удиви-тельное дело, нет еще ни одной морщинки, и каждая черта его дышит таким прямодуш-ным, искренним благоволением, из темных слегка скошенных по-азиатски глаз (мать его была ведь турчанка) просвечивает такая хру-стально-чистая душа...

«Смелее, смелее, милый мой! — как будто говорит этот добрый взгляд. — Ведь мы же братья: я — старший, ты — младший; и в тебе, я знаю, как во всех людях-братьях, теплится святая искра Божия; надо ее только умеючи

раздуть. Вот я и раздуваю. Ну же, ну, смелее!»

И Гоголь разом приободрился, не стесняясь брякнул, что вот явился к нему, как к отцу литературы...

— К крестному разве? — улыбнулся Жуковский. — Хотя вопрос еще: есть ли вообще у нас литература?

— Но вы сами, Василий Андреевич, Пушкин, Грибоедов, Батюшков, Крылов, Державин...

— Да, у нас есть отдельные, весьма талантливые, может быть, даже гениальные поэты (о себе я не говорю: я более переводчик), но где же у нас, скажите, прозаики: романисты и драматурги, критики и ораторы, историки и философы? В полной литературе должны быть представлены все музы, как все искусства в совокупности только составляют один художественный цикл. Литературу какого-нибудь народа я сравнил бы с лесом, состоящим из деревьев высоких и низких, из кустарников и мелких растений: цветов и трав, грибов и мхов. Десяток деревьев: ель, дуб, береза, рябина, липа, или даже два-три десятка — составляют только маленькую кучу, ро-

щицу среди необозримой поляны. Вот поэтому-то я придаю особенное значение писателям второстепенным и третьестепенным и приветствую всякое нарождающееся дарование. Мне не было бы, поверьте, лучшего удовольствия, как приветствовать в числе их и вас, — отечески-ласково заключил Жуковский, поглядывая на толстый пакет, который юный гость его все время судорожно мял у себя на коленях. — У вас это что?

— Сборник рассказов...

— И вы желали бы, чтобы я еще до печати просмотрел их?

— Да-с...

— Я сделаю это весьма охотно. Но имейте в виду, что я не господин своего времени, что вам придется подождать, быть может, даже довольно долго.

— Вы состоите, кажется, при наследнике?

— Да, я руковожу всем его учением.

— Но сами, конечно, знакомите его с родным языком?

— Нет, я предоставил это одному из добрых друзей моих — Петру Александровичу Плетневу.

— Кому Пушкин посвятил своего «Онегина»?

— Да, и посвятил не без основания. Плетнев хоть и не писатель по профессии, но глубокий знаток словесности. Сам Пушкин настолько ценит его литературный вкус, что по его указаниям исправляет свои стихи. Вы называли меня отцом литературы; уж коли кому приличествует этот титул, так Плетневу. Знаете ли что, господин Гоголь? Чем ждате вы, пока я соберусь просмотреть ваши рассказы, не проще ли вам обратиться теперь же к Плетневу? Он сделает это, я убежден, и скорее, и совершеннее меня.

— Но я с ним вовсе не знаком...

— А со мной вы разве были знакомы?

— К вам у меня была хоть рекомендация.

— Так и я дам вам к нему записочку.

Минуту спустя новая записочка была в кармане Гоголя.

Попал он к Плетневым, оказалось, не совсем кстати: они сидели за обеденным столом (по случаю праздничного дня часом раньше обыкновенного), и горничная, взяв у гостя записку Жуковского, самого его провела в каби-

нет барина.

Сейчас тоже видно обиталище «книжного» человека, но вместо резных, полированных, полисандрового дерева книжных шкафов по стенам сверху до низу открытые полки, полки да полки с плотными рядами книг; на окнах вместо тяжелых штофных гардин простые белые шторы, впускающие массу трезвого дневного света; на незатейливом, но уместительном письменном столе никаких дорогих безделушек, одни необходимые письменные принадлежности да прекрасно исполненный портрет бледнолицей дамы, — без сомнения жены; а в глубине комнаты над диваном также картина — сельский ландшафт, но в простой черной рамке, под стеклом и исполненный не масляными красками, а гуашью.

«То же тяготение к матери-природе, что у друга его Жуковского, — подумал Гоголь, подходя к картине, представлявшей раскинутое на берегу многоводной реки село с деревянно-го церковью, около которой, над обрывом, укромно ютился среди фруктового сада дом священника. — Уж не родительский ли дом его?»

— Это моя родина на Волге, — раздался вдруг негромко, но так неожиданно ответ на мысленный вопрос над самым ухом погруженного в созерцание картины, что он вздрогнул и быстро обернулся.

Перед ним стоял сам Плетнев, который и обувь носил нарочно, должно быть, без каблучков, чтобы никого не беспокоить. Не приглашая гостя сесть, он принял от него рукопись и положил на стол.

— Сегодня же, как немножко отдохну, — сказал он, — примусь за ваши рассказы. На полях, если позволите, я буду делать карандашом пометки...

— Об этом именно я хотел просить вас. Я — малоросс и потому не вполне еще, пожалуй, усвоил себе обороты великорусской речи...

— Слог вам исправлять я во всяком случае не стану: каждый писатель прежде всего должен быть самим собой. И вы меня не слишком торопите. Зайдите как-нибудь на той неделе вечером к чаю, только не в субботу: субботы принадлежат Жуковскому.

Прием был тоже прост, но далеко не задушевен. Ужели он будет таков же и по прочте-

нии рассказов?

Глава пятнадцатая ПОД СКАЛЬПЕЛЕМ КРИТИКИ

Да, на этот-то раз Плетнев принял его со всем иначе! Он подвел его за руку к дивану и, все не выпуская руки, уселся с ним рядом.

— Расскажите-ка мне, где вы родились, где воспитывались?

Узнав то и другое, он тихонько вздохнул.

— Вы имели счастье уже в ранние годы проникнуться духом родной литературы. Мне, замкнутому в стенах духовной семинарии, счастье это далось значительно позже, и, тем не менее, я об этом не особенно жалею, потому что зато классический мир Гомера и Вергилия, наполнявший, веселивший мое детство, продолжавший улаживать меня и по переходе в педагогический институт, доселе звучит для меня какою-то родною музыкой.

— Как-то не верится, Петр Александрович, чтобы вы предпочитали когда-нибудь Гомера и Вергилия русским поэтам! Как же вышел из

вас такой словесник?

— Да какие же были у нас тогда поэты? Жуковский и Батюшков едва начинали только настраивать свои лиры. Был, правда, Державин; но пышные цветы его придворной музыки были не по мне, деревенскому мальчику. Гораздо ближе были мне скромные полевые цветы Дмитриева. Множество затрагиваемых им предметов, драгоценных для русского сердца, шутки острые, но благородные — привлекали мальчика, развивали в нем литературный вкус, обогащали память... Да, есть неизъяснимая сладость в тех воспоминаниях, которые уносят нас к началу наших умственных трудов. Это первая чистая любовь, врожденное желание совершенства, благодатный источник нравственных начал, нередко иллюзий, но самых чистых, окрыляющих дух к подвижничеству.

Пока Плетнев говорил это, Гоголь имел полный досуг ближе разглядеть черты его лица. Они дышали тем же благодушием, как у Жуковского, глаза глядели также честно и прямо, но, вместо самоуверенной благости и как бы юношеской хитрости, в них светилась

какая-то необычайная кротость, христианское смирение. Они могли и улыбаться, но не искрились, не зажигали в собеседнике яркого огня веселости, а обведали его лишь мимо-летным теплом. То был не лучезарный закат, а приятный серенький и тепленький денек.

— Но не заняться ли нам теперь нашим делом? — прервал тут Плетнев сам себя и, встав, перенес с письменного стола лампу, вместе с знакомою рукописью, на преддиванный стол.

— Я отвлек вас, кажется, от дела? — сказал Гоголь, указывая на огромные листы, разложенные на письменном столе. — Вы были заняты корректурой?

— Да, но она не так уже к спеху, хотя редко, признаться, я вел корректуру с таким наслаждением!

— А что это такое, смею спросить?

— Новая драма Пушкина — «Борис Годунов».

— Так наконец-то ее разрешили напечатать!

— И притом без всяких урезок. Первого января она будет преподнесена публике в виде новогоднего подарка. Такого подарка давно

ей не было — нечто шекспировское!

— И посвящается, вероятно, опять вам, Петр Александрович?

— Нет, памяти Карамзина; в самом посвящении указывается, что «сей труд гением его вдохновлен». Что-то скажут недруги Пушкина — Булгарин с компанией?

— Зашипят, конечно, а самих их, как змей, и меч не берет: рассечешь надвое — срastaются.

— Да, много труда дают себе эти господа возвеличить своего брата — мелкого человека, а еще более — умалить великого; последнее даже легче в глазах толпы, потому что всякое пятно, всякая заплата куда виднее на пышном наряде, чем на рубище. Самому Пушкину, впрочем, пока не до врагов: впереди у него семейное счастье.

— Он женится?

— Да, и на первой красавице московской — Гончаровой.

— Дай ему Бог! Так он теперь в Москве?

— Был там до первых чисел сентября. Но потом, чтобы привести перед свадьбой в некоторый порядок свои денежные дела, от-

правился в свое нижегородское имение Болдино да там и застрял: по случаю холеры вокруг Москвы устроен строгий карантин.

— И бедного жениха не пускают к невесте? То-то, я чай, стосковался!

— Не думаю: это удивительно уравновешенная натура. В письмах своих он, по крайней мере, шутить не разучился. Могу дать вам сейчас образчик его настроения.

Письмами Пушкина Плетнев, видно, очень дорожил, потому что они хранились у него отдельно, и поделиться их содержанием с другими доставляло ему, по-видимому, особенное удовольствие.

— Вот что он, например, пишет мне: «Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит и к нам в Болдино да всех нас перекусают; того и гляди, что к дяде Василию отправлюсь[32]; а ты и пиши мою биографию. Бедный дядя Василий! Знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу в забытии; очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: „Как скучны статьи Катенина!“ — и более ни слова. Какое? Вот что значит умереть честным вои-

ном на щите, le cri de guerre a la bouche!..[33] Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда, жена свой брат. При ней пиши сколько хочешь. А невеста пуще цензора Щеглова язык и руки связывает... Сегодня от своей получил я премиленькое письмо. Зовет меня в Москву — я приеду не прежде месяца, а оттоле к тебе, моя радость. Что делает Дельвиг, видишь ли ты его? Скажи ему, пожалуйста, чтобы он мне припас денег, деньгами нечего шутить, деньги вещь важная, — спроси у Канкрина[34] и у Булгарина. Ах, мой милый! Что за прелесть здешняя деревня, вообрази: степь, соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе приготовлю всячины, и прозы, и стихов». Так вот как он проводит свое время в деревне, — заключил Плетнев, бережно складывая опять письмо друга-поэта и пряча на прежнее место. — Барон Дельвиг молит только Бога, чтобы карантин задержал Пушкина в Болдине месяца три: тогда его «Литературная газета» будет обеспечена прекраснейшим материа-

лом на целый год. Пушкин, коли раз засядет, так напишет в десять раз более, да и лучше всякого другого[35]. Теперь, однако же, обратимся от Пушкина к вам...

— От великого к смешному! — досказал в несколько минорном тоне Гоголь.

— И смешное может быть велико; вспомните хоть «Дон-Кихота». У вас здесь, оказывается, одна вещь уже в печатном виде...

— Да, «Вечер накануне Ивана Купала», но Свиньин позволил себе в ней без моего согласия столько изменений, что я ее заново переработал.

— И хорошо сделали: большую часть ваших переделок я могу только одобрить. Особенно выдвинулся у вас теперь характер главного героя, хотя, по правде сказать... вы не взыщете, если я буду говорить вам одну чистую правду?

— Напротив. Не странно ли, право, что мы извиняемся, когда говорим правду...

— А не извиняемся, когда лжем? Потому что приятную ложь нам охотно прощают, а горькую правду нет. Итак, говоря откровенно, мне сдается, что при переработке этого рас-

сказа вы были под влиянием повести Тика «Liebeszauber» — «Чары любви».

Гоголь покраснел и должен был сознаться, что, действительно, не так давно прочел повесть Тика[36].

— Вы не смущайтесь, — успокоил его Плетнев, — рассказ ваш от этого, во всяком случае, только выиграл. Пчела берет мед из всякого цветка, не причиняя ему вреда.

— Но все-таки могут сказать, что я пою с чужого голоса.

— Природа нигде не повторяется, и едва ли есть на свете две мухи, совершенно сходные между собою. То же и с оригинальными писателями. В общем вы самобытны и никому не подражаете; а это я ценю в вас всего выше. Много у вас, правда, еще не додумано, не сделано, словом — не созрело. Вам надо серьезно поработать над собою. Писатель постоянно должен помнить, что он пишет не для себя, а для тысяч других людей, что если он на какой-нибудь частный раут не является в халате, не чесанным, небритым, то тем менее ему позволительно являться в таком неприглядном виде перед всей читающей

Россией. Если вы желаете, чтобы вас читали и через десять лет, быть может, даже после вашей смерти, — вы должны взвешивать каждое ваше выражение, каждое слово. И относясь к вашим рассказам с этой точки зрения, я должен сказать вам, что они меня далеко не удовлетворяют. Лучше теперь же тонким скальпелем эстетической критики удалить все болезненные наросты...

— Чтобы потом журнальные живоде­ры своими кухонными ножами не вырезали вме­сте и лучшие куски здорового мяса? — сказал Гоголь.

— А вы все еще не можете простить Сви­нину? Он принес вам пользу уже тем, что за­ставил вас внимательнее отнестись к своей работе.

И тем же ровным, может быть, еще более ласковым тоном критик-эстетик начал ком­ментировать свои загадочные вопроситель­ные и восклицательные знаки, которыми бы­ли испещрены чуть ли не все страницы руко­писи молодого автора.

Тут скрипнула дверь, и в комнату загляну­ла бледная дама, в которой Гоголь тотчас при-

знал оригинал того портрета, который обратил в первый раз его внимание, на письменном столе хозяина.

— Жена моя, — рекомендовал ее Плетнев гостю. — Что скажешь, милая?

Застенчиво и молчаливо ответив на поклон Гоголя, хозяйка наклонилась к уху мужа.

— Да, да, лучше сюда, мой друг, — отвечал Плетнев, — мы долго еще не кончим.

Вслед за горничною, принесшею им чай, вошла девочка с сухарницей, наполненной всяким печеньем и бутербродами.

— Моя единственная, совсем в маму, — с нежностью проговорил Плетнев и потрепал дочку по щеке. — А ты все еще не спишь?

— Манечка тоже не спит, — тихонько отвечала девочка, из-за плеча отца украдкой поглядывая на гостя.

— Это ее кукла, — с улыбкой пояснил Плетнев гостю. — Так ты бы ее уложила.

— Да ей еще не хочется. Отец беззвучно рассмеялся.

— В самом деле? Ну, может быть, теперь и захочется: поди, посмотри.

Отец поцеловал дочку в лоб и осенил крестом.

— Вы не поверите, — обратился он к Гоголю, когда она на цыпочках опять вышла, — как этакая детская наивность утешает, освежает родительское сердце! точно сам вдруг опять молодеешь.

И он с новыми силами принялся за свои комментарии. Уже близко к полночи была просмотрена последняя тетрадка.

— Ну, вот, — заключил Плетнев, проводя ладонью по утомленному лицу и слегка отдуваясь, — если имеете что возразить, то, сделайте милость, говорите: и мне, как всякому, свойственно ошибаться.

— Что я могу возразить? — прошептал упавшим голосом Гоголь. — Все ваши замечания безусловно верны, и я понимаю, что вы могли бы еще многое заметить, но, по доброте своей, меня пощадили. Вот Пушкин выработался сам собой, без чужой указки...

— Нет, Жуковский был его главным учителем, пока сам не признал себя побежденным. Мне припоминается один случай, — продолжал Плетнев, бесстрастные черты которого

при этом несколько опять оживились. — Жил Василий Андреевич тогда еще не во дворце — он был еще простой смертный, — а в Коломне, у Кашина моста, в семействе своего деревенского друга Плещеева. Но по субботам у него и тогда уже собирался литературный кружок: Пушкин, Дельвиг, Вяземский, Баратынский... Василий Андреевич взял привычку — при исправлении своих стихов в перебеленной уже тетради не зачеркивать забракованные строки, а заклеивать сверху полосками бумаги. И вот однажды, когда он прочитывал нам такие исправленные стихи, кто-то из присутствующих заметил, что прежняя редакция стихов была удачнее, и сорвал наклеенную бумажку. Вдруг смотрим, что такое? Пушкин лезет под стол за бумажкой и прячет ее в карман с важным видом: «Что Жуковский бросает, то нам еще пригодится!»

Гоголь не рассмеялся, а только грустно усмехнулся.

— Пушкину-то хорошо так шутить, когда весь свет признает его громадный талант!

— И ваш талант, Николай Васильевич, со временем, надеюсь, признают; но для этого,

повторяю, вы должны быть своим собственным критиком, переделывать по несколько раз то, что вам самим не нравится. Талантливому писателю это не может представлять особенного труда: птицу не спрашивают, трудно ли ей летать.

Плетнев не выражал восторга, и впоследствии Гоголь никогда не замечал, чтобы этот пронизательный и невозмутимо-спокойный критик чем-либо шумно восхищался; только в редких случаях, именно, когда появлялось какое-нибудь художественное произведение его молодого друга — Пушкина, он, бывало, приходил в тихое умиление. Но уже тот искренний отеческий тон, которым была произнесена эта умеренная похвала, вызвал в Гоголе сильный подъем духа.

— О, я готов залететь хоть за облака! — воскликнул он. — Так вы, Петр Александрович, стало быть, ни одной из моих вещей не бракуете?

— Гм... Посмотрим, каковы они выйдут в окончательной отделке. Кажется, что все могут быть напечатаны. Во всяком случае, я не напечатал бы их вместе.

— А как же иначе?

— А вот четыре ваших крупных рассказа — «Вечер накануне Ивана Купала», «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь» и «Страшная месть», носят все один и тот же характер — легендарной Малороссии. Их я выпустил бы в одной книжке под каким-нибудь общим заглавием. Об этом мы еще потолкуем с Жуковским, как и о том, выступить ли вам под своим собственным именем или под псевдонимом.

— А что же сделать с остальными вещами?

— Да ведь все это мелочи, расходная монета, которая уронила бы цену всего сборника! Им место в текущей литературе — в журналах, где мы их и пристроим.

И точно, благодаря Плетневу, все мелкие статьи Гоголя были вскоре напечатаны в альманахе «Северные цветы» и в «Литературной газете», но с разными подписями: «ОООО» (так как буква «о» в подписи «Николай Гоголь-Яновский» встречается четыре раза), «Г.Янов», «Глечик» (то есть Полковник Глечик — одно из действующих лиц романа «Гетман») и одна только статья «Женщина» — за

настоящим его именем, как будто молодому автору не хотелось даже, чтобы читающая публика знала, что вся эта «расходная монета» вышла из одних и тех же рук.

Как искренне сочувствовал ему столь сдержанный вообще Плетнев, как верил уже в его талант и более отзывчивый Жуковский, когда ознакомился также с его первыми опытами, — об этом нагляднее всего свидетельствуют следующие строки из письма Плетнева к Пушкину в Москву (от 22 февраля 1831 г.):

«Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в „Северный цветах“ отрывок из исторического романа с подписью ОООО, также в „Литер, газете“ — „Мысли о преподавании географии“, статью „Женщина“ и главу из малороссийской повести „Учитель“. Их писал Гоголь-Яновский... Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих, и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает».

Глава шестнадцатая

БАСНЯ О САПОЖНИКЕ И ПИРОЖНИКЕ

По средам у Плетнева сходились на чашку чая его сослуживцы-педагоги и приятели-литераторы. Одним из усерднейших посетителей этих вечеров стал теперь и Гоголь. Сам почти не раскрывая рта, он тем внимательнее наблюдал и слушал. Всего охотнее, конечно, слушал он Жуковского, который умел внести оживление и в самую специальную тему.

Так в одну из сред, когда одним из присутствовавших педагогов было выражено сожаление Жуковскому, что он, «русский Тиртей», в последние годы из-за своей службы при наследнике-цесаревиче не дарит ничего нового литературе, Жуковский заметил, что никакой службы нельзя сравнить с ответственной задачей — воспитать будущего монарха к управлению миллионами жизней.

*Да встретит он обильный че-
стью век,*

*Да славного участник славный бу-
дет,
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий — человек!
[37]*

— И лучшего наставника для будущего царя-человека трудно было бы найти, — подхватил другой собеседник, — как по душевным качествам, так и по образованию, учености...

— Чтобы быть наставником наследника престола, господя, мало быть обыкновенным ученым, — отвечал Жуковский, — надо быть ученым в науке человечества с точки зрения всех времен и в особенности своей эпохи. Когда мне сделали столь лестное предложение, я для самообразования нарочно отправился в Швейцарию — изучить на месте методу Песталоцци. Возвратясь назад, я составил себе на весь курс учения определенный план. Моему царственному воспитаннику было тогда всего восемь лет. До его двадцатилетнего возраста я рассчитывал закончить его воспитание и эти двенадцать лет распределил на три периода: первый — отрочество, от восьми до тринадцати лет, — учение приговорительное,

второй — юношество, от тринадцати до восемнадцати лет, — учение подробное, и третий — первые годы молодости, от восемнадцати до двадцати лет — учение применительное, когда воспитанник более действует сам, нежели приобретает от наставника, учением немногих классических книг: хорошие книги — вернейшие друзья человека.

— Но пока-то он еще не вышел из первого периода? Ему не минуло ведь еще и тринадцати.

— Да, он, так сказать, готовится еще только к путешествию: надо дать ему в руки компас, познакомить с картою, снабдить орудиями, разумея под компасом предварительное образование ума и сердца, под картою — краткие научные знания, а под орудиями — языки. По каждому предмету приглашены, разумеется, известные специалисты.

— А вы не боитесь, что они сделают из него кабинетного ученого?

— О, нет. Мы хотя и даем ему всестороннее образование, но вместе с тем развиваем, укрепляем также его телесные силы посредством воинских и гимнастических упражне-

ний, чтобы приучить его всегда владеть собою. На этом особенно настаивает сам государь. Так, в прошлом году летом, на другой же день по возвращении наследника из Берлина, когда пришла от Паскевича депеша о нашей победе над турками, его величество вызвал дивизион артиллерийского училища для салютационной пальбы, и цесаревич должен был все время выстоять с пальником у орудия. А три дня спустя он участвовал вместе с кадетами в штурме петергофских каскадов. Их величества со свитой сидели на верхней площадке. По команде государя «Раз! два! три!» кадеты вперегонку с криком «ура!» стали карабкаться на крутизну, заливаемые бьющими им навстречу каскадами; а наверху первые из них получали призы из рук императрицы.

Тут Гоголь не утерпел также вмешаться в разговор:

— Но одного, Василий Андреевич, наверное, все-таки нет в вашей программе, что для меня составляет одно из самых приятных воспоминаний моей школьной жизни.

— Что же именно?

— Мы с товарищами издавали рукописные журналы...

Жуковский улыбнулся своей хорошей улыбкой.

— Вот вы и ошиблись, — сказал он, — и у нас издается и даже печатается школьный журнал — «Муравейник».

— А кто же сотрудники наследника?

— Две сестры его — великие княжны Мария Николаевна и Ольга Николаевна, и два его воспитанника: граф Иосиф Виельгорский и Александр Паткуль. Но наследнику принадлежит между ними пальма первенства...

Беседа перешла снова на общие задачи воспитания, и Гоголь на весь остальной вечер умолк. Но он выждал, пока не удалился последний из других гостей, а затем обратился с просьбою к Плетневу — быть отцом родным и пристроить его где-нибудь по учебной части.

Плетнев немало удивился.

— Но вы, как чиновник, имеете уже обеспеченный кусок хлеба? — сказал он.

— Да Бог с ним, с этим куском, который в горле застревает! Все эти сослуживцы ваши,

что были сейчас здесь, как вы, как Василий Андреевич, и душой и телом преданы своему любимому делу, а я изволь погружаться до макушки волос в канцелярщину, от которой дух захватывает, все внутри тебя так и переворачивается, как перед морскою болезнью.

— Но господа эти — люди науки...

— Да и для меня нет ничего выше науки! Вы не поверите, с каким наслаждением я перечитываю теперь деяния народов, подвиги ума и труда. Что я и в педагогике не совсем профан, доказывает, мне кажется, статья моя о преподавании географии. Голубчик, Петр Александрович, вы ведь инспектор института; ну что вам значит предоставить мне хоть парочку уроков географии или истории!

Плетнев насупился и медлил с ответом: в нем происходила явная борьба.

— Бог свидетель, как охотно я исполнил бы ваше желание, — произнес он наконец, — если бы я был сколько-нибудь уверен, что это принесет пользу и вам, и делу. К науке, в строгом ее значении, наставнику надобно приготовиться в возможном совершенстве, — что вы, Николай Васильевич, про себя пока

едва ли можете сказать. Но это еще не все: можно знать хорошо науку и плохо ее преподавать. По другим путям гражданской деятельности идут в сообществе с товарищами, равными силою, летами и назначением. Не таково положение образователя юношества: стоя сам в центре отдельного маленького мира, он обязан внести в него все, что необходимо для сообщения ему жизни, и трудится один, предоставлен самому себе.

— В народной школе, где всего один учитель, оно, конечно, так; но в институте, Петр Александрович, где по каждому предмету есть свой учитель, учителя эти могут идти также рука об руку, особенно при содействии инспектора?

— Несомненно; но тем не менее каждый из них по своему предмету совершенно независим и несет полную ответственность за успехи детей. Усладить их труд, рассеять их утомление, победить их скуку — на все должно стать его собственных душевных сил. Мало того: чтобы возбужденная им жизнь снова не охладела, не остановилась, он должен идти вперед с наукой, постоянно обновлять мате-

риалы. От педагога, как видите, требуется полное самоотвержение. Найдется ли оно у вас?

— Я приложу все старания...

— И этому готов верить. Человек благоразумный, с характером, сведущий и трудолюбивый, рано или поздно дойдет в деле воспитания до некоторой степени совершенства. Одного только качества при всем старании нельзя приобрести, если им не наделила вас природа: я говорю о любящем сердце, которое само собой, без усилий, без советов благоразумия или опыта, без внешних побуждений честолюбия, действует так благотворно, так неизменно, что все тяжести на этом труднейшем поприще переносятся легко и отраднo. Скажите по совести, Николай Васильевич, положа руку на сердце: чувствуете ли вы в себе такую беззаветную любовь к подрастающему поколению?

Прямодушный взор Плетнева, казалось, хотел проникнуть в самую глубь его души; Гоголь невольно отвел глаза.

— Сестриц своих я очень люблю, — промолвил он, — и не без удовольствия занимал-

ся с ними... Других детей, признаться, мне не приходилось еще учить.

— Вот видите ли! А помните крыловскую басню:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...

— Да не сами ли вы, Петр Александрович, говорили, что у меня есть некоторый писательский талант; а талантливый писатель, согласитесь, не сапожник?

— Не сапожник, но пирожник. А умеете ли вы шить сапоги?

— Зачем же сапоги, помилуйте, для молодых девиц? Я буду шить им башмачки, ботиночки, наисубтильные, как воздушное пирожное, чтобы первый шаг их в жизнь был наивозможно легок и грациозен.

Последние слова свои Гоголь иллюстрировал таким «грациозным» жестом, что вызвал и на серьезном лице Плетнева улыбку.

— Ну вот, — сказал он, — не угодно ли пустить вас после этого в наставники к моим девицам! Вы так еще юны...

— И так неотразим — Аполлон Бельведерский! Того и гляди, что своей обворожитель-

ной персоной всем головы вскружу.

Плетнев окинул «персону» молодого человека испытующим взглядом и молча прошелся взад и вперед по комнате.

— В этом-то отношении особенной опасности им, пожалуй, не грозит, — проговорил он и, остановившись перед Гоголем, положил ему на плечо руку. — Вот что, Николай Васильевич. Недавно мы в Патриотическом институте схоронили прекрасного учителя истории — Близнецова, которого заменить еще не удалось. Часть его уроков я поневоле поручил другому преподавателю, без того заваленному работой. Шесть уроков до времени я взял себе. Эти-то, так и быть, могу уступить вам. Осенью, быть может, откроются уроки и в других заведениях; а на летние каникулы, когда вы будете свободны от учебных занятий, я постараюсь добыть вам место воспитателя в каком-нибудь частном доме... Хорошо, хорошо! — остановил Плетнев Гоголя, когда тот начал было благодарить — Посмотрим, как-то вы еще покажетесь нашей маман.

— Какой маман?

— А начальнице — Вистингхаузен.

— Да ведь выбор учителей зависит, кажется, от вас одних, как инспектора?

— Выбор — да, но доклад императрице об их утверждении идет от начальницы. Наша Луиза Федоровна, впрочем, препочтенная дама. С тех пор как она лишилась своих собственных детей: четырех дочерей и сына, она вся отдалась институту, и воспитанницы для нее — те же родные дети. Обедает она вместе с ними за одним столом, спальню себе устроила нарочно около лазаретной комнаты с самыми трудными больными и ночью не раз встает с постели, чтобы приглядеть за ними, подать лекарство, утешить добрым словом. Она добра, но и строга — к себе и к другим.

— И к учителям?

— Их она также, разумеется, не упускает из виду с воспитательной точки зрения. Она у нас вездесуща и всеведуща, а потому зачастую входит во время уроков в классы.

— И делает учителям замечания?

— Случается; но всегда уже по выходе из класса, чтобы не ронять старших в глазах детей. Во всяком случае вам придется прочесть в ее присутствии пробную лекцию.

— Ой, вай мир!

Лицо Гоголя так испуганно при этом вытянулось, что Плетнев счел нужным его успокоить:

— Ну, может быть, и без того как-нибудь обойдемся.

И в самом деле, когда наступил день представления Гоголя начальнице института, Плетнев выбрал такой момент, когда Луизе Федоровне было не до нового учителя. Во встревоженном воображении Гоголя рисовалась высокая, дородная дама, с величественной осанкой, с сверкающим взором, вроде некой сказочной королевы, а вместо того он увидел перед собою маленькую, горбатую старушку, с болезненно-бледным лицом, с печальными и тусклыми глазами. Удручающе-грустный вид ее усугублялся еще траурным креповым чепцом и черным платьем, которых она не снимала со смерти своих детей. На душе Гоголя несколько полегчало; но Вистингхаузен тут же заговорила с ним по-французски, и он, запинаясь, должен был извиниться, что недостаточно силен во французском языке. Тонкие бескровные губы ста-

рушки строго сжались.

— Будем надеяться, что в истории вы тем сильнее, — сказала она по-русски с немецким акцентом. — Жалею только, что не могу быть сегодня на вашей первой лекции.

— А мы, Луиза Федоровна, сделаем сегодня воспитанницам легонький экзамен, — ввернул Плетнев, — чтобы Николай Васильевич с первого же дня получил понятие о тех познаниях, какие приобрели они у его предшественника.

— Да, это будет всего лучше.

С чинным кивком и с тою же унылою миной Луиза Федоровна протянула новому подчиненному свою крохотную, сморщенную ручку, и тот с угловатым поклоном отретировался вслед за своим новым начальником — инспектором классов.

— А теперь к вашим ученицам, — сказал Плетнев и рядом коридоров провел его в класс, наполненный девочками-подростками, которым тут же его и отрекомендовал: — Николай Васильевич Гоголь. Прошу заниматься у него так же хорошо, как у покойного Блинецова.

Сидевшие за классными столами барышни в платьях однообразного покроя — с открытыми шеями и короткими рукавами, в белых пелеринках и передниках с нагрудниками, все разом приподнялись с мест и разом же отдали реверанс.

«Ни дать ни взять, ветерок пробежал по колосистой ниве», — мелькнуло в голове Гоголя; но в тот же миг он должен был уже отвести взор, потому что у каждого «колоса» оказалась также пара прелюбопытных глаз, критически разглядывавших «бедного белокурого молодого человека с неизмеримым хохлом, с большим острым носом, с быстрыми карими глазами и с порывистыми, торопливыми движениями», — как описывала его впоследствии в своих воспоминаниях одна из его учениц.

Не садясь, Плетнев начал предлагать вопросы из пройденного курса истории поочередно то одной, то другой ученице. Ответы были в общем очень удовлетворительны: имена и годы так и сыпались, как из рога изобилия.

«Скажите, пожалуйста! Задолбили сороки

Якова про всякого. А вот есть у меня, сударыни, еще один орешек: раскусите, да язычка не прикусите».

— А не можете ли вы мне сказать, — внешне заговорил молчавший до сих пор Гоголь, — кто был Бар Кохба?

— Бар Кохба был знаменитый вождь евреев, — не задумываясь, отвечала спрошенная воспитанница и затараторила бойко, как по книжке, что в 127 году по Рождестве Христовом этот «вождь» возмутил-де своих соплеменников против римского гнета в Сирии и Иудее; что в сообществе с книжником Акибой он неоднократно побеждал римлян, завладел Иерусалимом и провозгласил себя царем; что посланный против него императором Адрианом Юлий Север рассеял бунтовщиков, взял и сжег Иерусалим и, наконец, в 135 году разгромил последнюю твердыню евреев — Бетер; что при этом погиб и сам Бар Кохба, но что из-за него успело уже погибнуть также до полумиллиона его сородичей, а сколько их было еще уведено в неволю!

«Батюшки, сватушки, выносите, святые угодники! Не то коноплянка урчит в поле, не

то журавль в небе турлыкает; а уж тумана книжного — ума помраченье! В ушах звенит, в голове шумит»...

— Ну, что, не будет ли? — обратился Плетнев к молодому учителю, заметив, что тот не задает уже других вопросов, а нервно покусывает только кончик своего белого носового платка.

— О да! Совершенно достаточно.

— Как вы нашли познания наших девиц? — поинтересовалась начальница, когда Гоголь перед уходом зашел к ней проститься.

Он настолько собрался уже с духом, что отвечал довольно развязно:

— Познания их в учебном отношении весьма даже систематичны, отдаю полную справедливость моему предместнику. Но систематичность в истории легко переходит в сухую схоластику и возбуждает в молодежи, особливо в девицах, отвращение к самому предмету. Дело не столько в хронологии, сколько в ярких исторических образах и картинах, чтобы века давно минувшие с их бытом, нравами и всем духовным миром воочию восставали перед юными слушательни-

цами и запечатлелись в их памяти на целую жизнь.

— Девицы в этом возрасте, действительно, впечатлительнее мальчиков...

— Впечатлительнее и восприимчивее, — подхватил Гоголь, — а вместе с тем неопытнее и чище. Это-то учителю особенно дорого. Мне невольно вспоминается, как я малым ребенком получил в подарок луковицу белой лилии. В марте месяце она пустила уже ростки, и каждое утро я первым делом подбегал к своей луковичке — посмотреть, сколько у нее новых листочков распустилось, от холодного окошка бережно переносил ее к теплой печке, а потом опять от темной печки к светлому окошку, к Божьему солнышку...

— И мои институтки, по-вашему, такие же луковички белых лилий? — слабо улыбнулась Вистингхаузен.

— Именно, а вы, Луиза Федоровна, старшая садовница, растите их и холите с утра до поздней ночи, поливаете свежей водицей и греете на весеннем солнышке, пока не вырастите из них прелестных, пышных лилий, себе на славу и людям на загляденье!

— С вашей помощью, мосье Гоголь, потому что вы будете в этом деле, как я вижу, одним из моих усерднейших помощников, — благо-склонно досказала Вистингхаузен, подавая ему руку.

— Целуйте же, — шепнул сзади Плетнев, и Гоголь поторопился приложиться.

— Выработается ли из вас хороший садов-ник или дурной сапожник — покажет буду-щее, — шутливо заметил Плетнев, когда они вышли опять от начальницы, — но пирож-ник вы и теперь хоть куда!

Тем же «пирожником» выказал себя Го-голь затем и на деле — на своих уроках исто-рии.

«Преподавание его было неровное, от-рывочное, — говорит в вышеупомяну-тых воспоминаниях своих его бывшая ученица, — одних событий он едва ка-сался, о других же слишком распро-странялся; главной заботой его была наглядность, живость представления. Однажды, пробегая общим обзором ис-торию Франции, Гоголь схватил мел и, продолжая рассказывать, в то же вре-мя чертил на черной доске какие-то

фигуры вроде гор, площадок и обрывов; на каждом подъеме или спуске писал имя государя, возвысившего или уронившего Францию; нас особенно удивила высокая скала, на подъеме, на вершухе и на подошве которой стояло одно и то же имя — Людовик XIV. Мы ахнули, а Гоголь весело засмеялся: он достиг своей цели — увлек нас».

Для большей наглядности он на следующий урок принес раскрашенные картины времен Людовика XIV. На других уроках, смотря по тому, относились ли они к истории древней или средней, он показывал ученицам рисунки, изображавшие либо памятники древности, оружие, одежду, домашнюю утварь древних, либо готические соборы и замки, разряженных дам и рыцарей. На одной и той же лекции, в порыве фантазии, он, бывало, переносился из Рима в Грецию, а оттуда в Египет.

«Одна картина сменялась другою, — говорится в тех же воспоминаниях, — едва дыша следили мы за ним и не замечали того, что оратор в пылу рассказа драл перо, комкал и рвал тет-

радь или опрокидывал чернильницу».

Одну из первых его лекций посетила и начальница. Присутствие ее не могло не стеснить его, и лекция, по собственному его мнению, «не вытанцовалась». Каково же было ему вслед за тем услышать от Плетнева, что он заслужил полное одобрение Луизы Федоровны: сейчас видно-де неиспорченная натура — застенчив, как красная девица.

На другой же день, не выжидая еще доклада императрице, Гоголь, явясь на службу в департамент, подал начальнику отделения прошение об отставке. Панаев не возлагал уже, должно быть, на него особенных надежд на государственном поприще, потому что без всяких возражений дал его прошению ход. С 9 марта 1831 года Гоголь был уволен от службы в департаменте уделов, а 1 апреля состоялся высочайший указ об определении его в Патриотический институт старшим учителем истории «со дня вступления в должность» — 10 марта.

Что в первое по крайней мере время деятельность педагога была ему вполне по душе — можно судить по следующим строкам

его к матери (от 16 апреля): «Вместо мучительного сидения по целым утрам, вместо срока двух часов в неделю, я занимаюсь теперь шесть, между тем как жалованье даже немного более; вместо глупой, бестолковой работы, которой ничтожность я всегда ненавидел, занятия мои теперь составляют неизъяснимые для души удовольствия».

«Обожать» Плетнева считали долгом поголовно все вообще воспитанницы; Гоголь от многих из них также удостоился этой чести, хотя со временем его рвение заметно охладело. «Если он приходил не в духе, то зевал, говорил вяло, не подымая глаз, грыз перо или кончик носового платка, спрашивал слабых, насмехался; не досиживая своих часов, бросал урок и уходил. Иногда неделями не являлся и ему это спускали ради Плетнева».

Вслед за дебютом своим в Патриотическом институте Гоголю открылся случай, благодаря опять-таки Плетневу, а также, кажется, Жуковскому, испытать свои педагогические способности и в трех аристократических домах: сперва Лонгиновых и Балабиных, а затем и Васильчиковых.

«Первое впечатление, произведенное им на нас, — рассказывает младший из трех учеников его Лонгиновых, — было довольно выгодно, потому что в добродушной физиономии нового нашего учителя, не лишенной, впрочем, какой-то насмешливости, не нашли мы и тени педантизма, угрюмости и взыскательности, которые считаются часто принадлежностью звания наставника. Не могу скрыть, что, с другой стороны, одно чувство приличия, может быть, удерживало нас от порыва свойственной нашему возрасту смешливости, которую должна была возбудить в нас наружность Гоголя и отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком».

Хотя его пригласили к Лонгиновым в качестве преподавателя русского языка, но, к немалому удивлению учеников, он на первом же уроке стал просвещать их в трех царствах природы, на втором — разговорился о географическом делении земли, о горах и реках, а на третьем — дал краткий обзор всеобщей истории.

— Когда же мы, Николай Васильевич, нач-

нем уроки русского языка? — решился спросить его старший ученик.

— Да на что вам это, господа? — усмехнулся в ответ Гоголь. — В русском языке первое дело — уметь ставить [ять] да е, а это вы и так уже знаете, как я убедился из ваших тетрадей. Выучить же писать гладко и увлекательно не может никто: это дается природой, а не ученьем.

И уроки продолжались тем же порядком: раз толковали о естественной истории, в другой — о географии, в третий — о всеобщей истории. Это не было правильное учение, но он рассказывал им так много нового, уснащал свой рассказ веселыми анекдотцами, иногда очень мало относившимися к делу, и сам в заключение так простодушно хохотал вместе со своими маленькими слушателями, что те его скоро очень полюбили. Уроки происходили вечером, сейчас после обеда, и потому Гоголь зачастую приходил уже к обеденному столу. Здесь он садился около своих учеников и подсыпал перцу к их детской болтовне. Только когда бывший тут же их отец-сановник обращался к нему вдруг с каким-нибудь вопросом,

он, как облитый холодной водой, разом съеживался и умолкал.

Что касается затем занятий нашего педагога-пирожника у Балабиных и Васильчиковых, то об этом будет сказано далее в своем месте.

Глава семнадцатая

ПАСЕЧНИК НА ОЛИМПЕ

По мере окончательной отделки своих четырех рассказов, Гоголь представлял их на новых просмотр Плетнева. К маю месяцу все четыре были одобрены, до отдачи их в цензуру оставалось только решить: пустить ли их в публику под собственным именем автора или под псевдонимом, а также придумать заглавие для самого сборника. В обсуждении первого вопроса принимал живое участие и Жуковский; в конце концов остановились на псевдониме, предложенном Плетневым: «Пасечник Рудый Панько».

— Я предпослал бы на вашем месте и предисловие от имени пасечника, — сказал он, — что записал он будто бы свои рассказы со слов соседей, собирающихся у него по вечерам на хуторе в вашем Миргородском уезде.

— Где-нибудь близ Диканьки! — подхватил Гоголь.

— Прекрасная мысль. С легкой руки Пушкина Ди-канька известна теперь всей грамот-

ной России:

*Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят.*

— Так, значит, и окрестить мой сборник: «Вечера на хуторе близ Диканьки»?

— Так и окрестите. Чтобы не задержали в цензуре, я сам могу передать рукопись цензору Бутырскому, которого знаю еще с педагогического института.

— Он теперь, кажется, также профессором в здешнем университете?

— Да, и большой эстетик, милейший и благороднейший человек. Итак, я жду вашего предисловия.

Ждать Плетневу пришлось недолго: дня через два Гоголь принес уже свое предисловие и сам прочитал ему его.

Читая, Гоголь по временам вскидывал исподлобья глаза на своего судью и видел, как спокойные черты последнего все более оживлялись. Когда же пасечник в заключение принялся расхваливать стряпню хуторских баб: «Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый

квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случилось ли вам подчас есть пугрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть — объединье, да и полно; сладость неописанная! Прошлого года... Однако ж, что я в самом деле разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорее; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному», — тут даже хладнокровный всегда Плетнев не вытерпел и потрепал пасечника по спине!

— Браво, браво! Вы так расписываете, что даже у нашего брата, горожанина, слюнки потекут.

— Значит, вы, Петр Александрович, одобряете?

— Ни слова ни прибавить, ни убавить.

— А у меня есть еще второе предисловьице «Вечеру накануне Иана Купала» специально для Свинына.

— Это для чего?

— Для того, чтобы отблагодарить его за непрошенные поправки.

Миролюбивому Плетневу такая злопамятность была совсем не по душе.

— Ну, полноте, любезный Николай Васильевич! — сказал он. — Кто старое вспомянет, тому глаз вон.

— Да ведь я его не называю; вся отповедь у меня обиняками, которые ему одному могут быть понятны: имеющий уши да слышит. Позвольте, я вам прочитаю.

Это было то самое предисловие, которое с тех пор печатается в начале названного рассказа. Пара «крепких словечек» заставили Плетнева слегка поморщиться, точно в рот ему попало что-то горькое.

— В этом великомудром паныче из Полтавы в гороховом кафтане непосвященному, действительно, довольно трудно угадать Свинына, — заметил он. — А дьяк диканьской церкви Фома Григорьевич у вас тоже живое или вымышленное лицо?

— Вымышленное, но в то же время один из моих самых старинных знакомых — дьяк Хома Григорович, действующий в комедии моего покойного отца «Простак».

— И вы помянули его теперь добрым словом? Знаете ли что, Николай Васильевич: на днях должен прибыть сюда из Москвы Пуш-

кин. Что скажет Пушкин, то и благо.

Можно себе представить, с каким нетерпением и сердечным трепетом ожидал Гоголь приезда своего кумира — Пушкина!

И вот накануне одной из суббот Жуковско-го, на которые имел теперь доступ и Гоголь, Плетнев, встретясь с последним в институте, сообщил ему, что Пушкин прибыл и будет завтра у Василия Андреевича.

— Не забудьте же взять с собой ваши рассказы, — напомнил он.

Еще бы не взять! Но на душе у Гоголя было так беспокойно, что перед выходом из дому он на всякий случай принял гофманских капель.

— А вот и Гоголёк наш! — радушно встретил его Жуковский. — Где это вы, пане добродию, как замешкались? У нас тут весь Олимп уже в сборе.

В самом деле, в виду окончания зимнего сезона, перед разъездом на дачи, а еще более, быть может, в расчете встретиться опять с Пушкиным после долгого его отсутствия из Петербурга, — здесь оказались налицо князя Одоевский и Вяземский, Крылов, Гнедич, Во-

ейков. Но у Гоголя не было теперь глаз ни для кого, кроме Пушкина, который раньше всех поздоровался с ним со словами:

— Слышал о вас немало, но до сих пор, грешный человек, не читал ни единой вашей строчки. Нынче, однако, вы исправите, говорят, мой грех?

Но как это было сказано! С какой чарующей улыбкой! Великолепные, словно выточенные из слоновой кости, зубы так и блистали, сверкали белизной; а глаза, глаза!

Совсем растерявшись, Гоголь пробормотал про хрипоту, которая едва ли позволит ему читать.

— Да ты, Александр Сергеевич, не осаживай его с места, — вмешался Жуковский и обратился затем к князю Одоевскому: — Вы, Владимир Федорович, начали что-то про вашу поездку в Павловск?

В 1831 году Одоевскому шел всего двадцать восьмой год, но и тогда уже он был большим знатоком и страстным любителем музыки, тогда же начал ряд своих рассказов из области музыки. Мягким и, так сказать, «музыкальным» голосом заговорил он о «музыкаль-

ном» же предмете.

— Хотя аллеи в павловском парке после зимы не совсем еще просохли, меня безотчетно как-то потянуло к Розовому павильону, откуда издали уже долетали ко мне звуки золотой арфы, точно голос с того света незабвенной императрицы Марии. Когда же вступил в павильон, меня охватило жутко-таинственное чувство, точно светлый образ самой государыни незримо витал еще в этих мирных покоях. Каждая вещь кругом напоминала об ней! Я раскрыл клавиш, коснулся одной клавиши — и она издала такой жалобный тон, что у меня дрогнуло сердце, навернулись слезы. Третий год ведь уже, что благодетельницы нашей не стало, а все как-то не верится, что никогда, никогда ее не увидишь...

Одоевский умолк, и на несколько мгновений вокруг воцарилось молчание.

— В альбоме там я нашел также ваш автограф, Иван Андреевич, — заговорил он снова, — посвященную государыне-солнышку басню «Василек»:

*В глуши расцветший Василек
Вдруг захирел, завял почти до по-*

ловины

*И, голову склоня на стебелек,
Уныло ждал своей кончины...*

— Ну, теперь-то стебелек, пожалуй, не обломится, — заметил князь Вяземский, и лежавшее на всех присутствующих грустное очарование как рукой сняло: все весело оглянулись на старика-баснописца, тучный стан которого недаром заслужил ему от Карамзиной (вдовы историографа) прозвище Слон.

Сам Крылов не повернул даже головы на толстой короткой шее, как бы опасаясь нарушить найденное раз в кресле удобное положение, и только сверху покосился на большой бриллиантовый перстень, пожалованный ему императрицею Марией Федоровной и ярко сверкавший теперь на его жирной руке, покоившейся на ручке кресла.

— Смейтесь, смейтесь! — проворчал он. — Какое вам еще доказательство волшебной силы солнца, коли василек оно обратило в слона?

— На бивни которого не дай Бог попасть! — досказал Пушкин. — А что, Иван Андреевич, прочитали бы вы нам которую-ни-

будь из ваших басен?

— Не умею я читать...

— Вы-то не умеете? Как сейчас помню: у Олениных[38] играли в фанты; вам вышел фант — прочитать басню. Усадили вас на средину залы, и стали вы читать басню: «Осел и Мужик», — да как этак многозначительно огляделись:

Осел был самых честных правил! —

мы все, обступившие вас, так и покатились со смеху. Самому Крылову, должно быть, припомнилось описанное чтение, потому что он чуть-чуть усмехнулся и вздохнул:

— Да, бывало, бывало!

— Не только бывало, но можно сказать, — бывывало, — поправил Пушкин.

— Можно сказать даже «бывывывало», — подхватил Вяземский.

— Можно-то можно, — с самым серьезным видом согласился Крылов, — да только этого и трезвому не выговорить.

Пушкин залился таким звонким, заразительным хохотом, что никто не мог усто-

ять, — никто, кроме одного старика Воейкова: безобразный, желтый, изможденный, он угрюмо сидел поодаль от всех в углу и недоброжелательно исподлобья озира́л смеющихся.

— Все басни Ивана Андреевича я готов отдать за одну, — проговорил он, — про общего нашего друга-приятеля — змею подколодную.

— Это про Булгарина? — тихонько спросил Гоголь сидевшего около него Плетнева.

— А то про кого же? — отозвался Плетнев. — Вы знаете ведь басню «Крестьянин и Змея?»

— Господь уж с ним! — миролюбиво вступился Жуковский. — Ты сам, Александр Федорович, усадил его в Желтый Дом[39], ну, и пускай сидит себе там.

— Да ведь и тебе, Василий Андреевич, отведен там особый покой, — сказал Пушкин. — Так не лучше ли всех вас оттуда временно выпустить — на людей поглядеть и себя показать? Александр Федорович! Покажите-ка нам, право, опять всех ваших постояльцев.

К просьбе Пушкина присоединились и другие. Сделавшись предметом общего вни-

мания, старый свето-ненавистник приосанился и с язвительной усмешкой сказал наизусть целый ряд куплетов из своей бесконечно длинной сатиры «Дом сумасшедших». Гоголь слышал ее в первый раз и потому заслушался уже с самого вступления автора в «Желтый дом».

*Вечерком, простившись с вами,
В уголку сидел один
И Кутузова стихами
Я растапливал камин;
Подбавлял из Глинки сору,
И твоих, о, Мерзляков,
Из Омира по сю пору
Недочитанных стихов!
Дым от смеси этой едкой
Нос мне сажей закоптил,
Но, в награду, крепко-крепко
И приятно усыпил!
Снилось мне, что в Петрограде,
Чрез Обухов мост пешком
Перешед, спешу к ограде
И вступаю в «Желтый дом».*

Кого-кого желчный сатирик не усадил в свой «Желтый дом»! Когда в числе его жильцов оказался и Жуковский, Гоголь, вместе с

другими, невольно взглянул на хозяина-поза; но тот, как ни в чем не бывало, благодушно только улыбался. Из других помешанных наиболее заинтересовали Гоголя Свиньин, Греч и Булгарин.

В заключение сатиры, автор готов был бежать без оглядки из «Желтого дома», но смотритель дома удерживает его и читает ему указ:

*Тот Воейков, что бранился,
С Гречем в подлый бой вступал,
Что с Булгариным возился
И себя тем замарал,
Должен быть, как сумасбродный,
Сам посажен в «Желтый дом».
Голову обрить сегодня
И тереть почаще льдом!*

Хотя все присутствующие, за исключением одного лишь Гоголя, знали уже сатиру Воейкова, но, по-видимому, выслушали ее не без удовольствия и, вслед за Жуковским, довольно дружно захлопали в ладоши.

— А ты, мой Гнедко, чего надулся? Или обижен, что тебя тоже забыли? — заметил Жуковский Гнедичу, который едва ли не один

из всех с явным неодобрением относился к хлестким стихам сатирика.

Как уже известно было Гоголю, Гнедич, подобно Крылову, служил библиотекарем в Императорской Публичной библиотеке, подобно ему, пользовался там казенной квартирой и жил бобылем. Видаясь изо дня в день, они, несмотря на разность лет, состояли в дружеских отношениях и должны бы были, кажется, невольно перенять один от другого некоторые привычки. Между тем трудно было встретить двух людей более противоположных. Крылов был олицетворением славянской стихийной природы — простой, неряшливой и ленивой. Гнедич, напротив, был чопорный европеец, завивал волосы, одевался по моде и держал себя так, будто считал себя Адонисом, тогда как в действительности лицо его изрытое оспою, было нимало не привлекательно. Даже в горячем споре он сохранял свою величавость, самые простые вещи говорил как бы гекзаметрами и слегка в нос, точно по-французски, причем охотно также украшал свою речь французскими фразами, которые, впрочем, не всегда согласовались с

правилами французской грамматики.

— C'est simplement triviale, — прогнусил в ответ Гнедич, — ce ne sont pas des figures, mais, comme disent les Francais, ce sont des figurlettes [40].

— Однако и наш Иван Андреевич выводит в своих баснях своего рода фигурлетов, — улыбнулся Жуковский, — вместо Сидора да Карпа у него выступают самые подлые твари, а Сидор да Карп тотчас узнают себя.

— Quod licet Jovi, non licet bovi. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.

— Вы это, Николай Иванович, на чей счет? — огрызнулся тут из своего угла Воейков.

Жуковский, в качестве хозяина, поспешил вступить посредником:

— Vos, bovis, в просторечии бык — общесобирательное имя средней руки поэтов, представителем коих являюсь я, бык по преимуществу, так и именуемый в ковчеге Арзамаса Бычком, тогда как наш поэт Слон и по вашему собственному «Парнасскому адрес-календарю» есть «действительный поэт 1-го класса и входит к его парнасскому величеству без

доклада».

— Музу свою вообще посвящая низким предметам, Слон наш с бессмертными также беседу ведет на Парнасе! — с важностью добавил от себя Гнедич.

— Не по-гречески ли, как ваша милость? — колко отозвался Воейков.

— Именно так! Он не меньший знаток древней эллинской речи, чем слуга ваш покорный.

— Вот на! С каких это пор?

— Да неужто ты об этом еще не слышал, Александр Федорович? — спросил Жуковский. — Единственный, можно сказать, пример, что труднейшему языку ленивейший человек в подлунном мире научился на старости лет. Расскажи-ка, Николай Иванович, как это было.

— Было то вот как, — начал Гнедич, самодовольно озираясь и оправляя на шее толстый модный шарф, видимо, сдавливавший ему голосовые связки. — Однажды, едва я поднялся с постели, слышу за дверью слоновую поступь соседа — живем мы ведь с ним на одном коридоре. «Что бы то значило? — ду-

маю. — Верно, по самонужнейшему делу!» И точно. «Так и так, — говорит, — был я вечер у Орлова. Стал он меня подбивать по-гречески вместе учиться; прибыл такой, мол, француз из Парижа, что в короткое время беретса и стариков обучить этой мудрости. Как ты рассудишь, дружище?» — «Как рассужу? — говорю, а сам усмехаюсь: стоит предо мной мой Иван Андреевич в туфлях на босу ногу, в шлафоре — грудь нараспашку. — Ты и теперь уж в классической тоге, в сандалиях. Ступай! И передеваться не нужно». — «Будто я так уж ленив?» — «Воплощенная лень, брат! Я бы на месте твоём купил себе греческий Новый Завет да в ящик ночного стола положил бы: авось и собрался бы раз почитать на досуге». — «Гм», — промычал он в ответ, повернулся и вышел. Как-то потом заглянуть мне случилось в ночной его столик. Так ведь и есть! Лежит там евангелие с греческим текстом: только сверху-то пыли чуть не на палец. «Что, cher ami, — говорю, — греки не свой брат?» — «Да, — говорит, — хотел поучиться, да лень раньше нас родилася». Так вот проходит два года. Позвал нас обедать Оленин. По-

сле обеда хозяин с Иваном Андреичем скрылись, — верно, в объятъя к Морфею, думаю; сам заболтался с хозяйкой. Глядь, к нам Барюша и Петя — хозяйские дети — Ивана Андреича под руки тащат, а следом за ним Алексей Николаич, да три фолианта под мышкой. «Вот вы, Иван Андреевич, спорили все, что???? имеет одно лишь значение: „пасу“, а вот у Гомера и Ксенофонта нашел я другое значение еще: „разделяю“. — „Дайте взглянуть“, — говорит мой Иван Андреич. И что же? Представьте, берет „Илиаду“ и, как ни в чем не бывало, читает себе, переводит по-русски. „Э! — говорю, — не обманешь. И сам я по-английски раз страницу вызубрил, чтобы друзей провести. А на, прочитай-ка из этой вот песни. Взял он, читает опять, переводит. „Нет, брат, пустое! Не верю. У вас, Алексей Николаич, есть тут, я вижу, еще Ксенофонт; на нем-то уж верно запнется“. Ан не запнулся ведь! „Ну, — говорю, — Иван Андреевич! Было в древности семь чудес, а ты уж восьмое! Как это, братец, скажи, ты в элина вдруг превратился?“ — „А ведь не боги ж, — в ответ он, — горшки обжигают. Каждую ночь до четверто-

го часа читал я в постели; ради мелкой печати очками еще обзавелся. Ну, а теперь все едино, что по-гречески мне, что по-русски“.

Рассказывая так, Гнедич безотчетно скандировал каждую фразу. Все с улыбкой поглядывали то на него, то на Крылова; сам же Крылов, точно речь шла вовсе и не об нем, сидел по-прежнему неподвижно, по временам протягивая руку за стаканом остывшего чая.

— А что, Николай Васильевич, — тихонько обратился тут к Гоголю Плетнев, — не пора ли выступить и вам?

Того как варом обожгло.

— Нет, Петр Александрович, лучше отложим до осени...

— До осени? Ну нет, извините. Господа! — громко возгласил Плетнев. — Вот у Николая Васильевича взята с собой рукопись его талантливой земляка-хохла — пасечника Рудого Панька. Не желаете ли послушать один рассказец?

— И весьма! — подхватил первым Пушкин. — Василий Андреевич, стакан сахарной воды и пару свечей.

Не успел очнуться Гоголь, как сидел уже

посреди комнаты за маленьким столиком с двумя восковыми свечами (стеариновых в то время не было еще и в помине).

— Смелей, смелей, — шепнул ему Жуковский, ставя к нему на столик стакан сахарной воды.

Было это не лишне: Гоголь чувствовал, как вся кровь у него отлила к сердцу, и дрожащей рукой он поднес к губам стакан сахарной воды.

— Книгу свою пасечник назвал „Вечера на хуторе близ Диканьки“, — предварил он слушателей; затем откашлянулся и стал читать: — „Это что за невидаль: «Вечера на хуторе близ Диканьки?» Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник! Слава Богу, еще мало ободрали гусей на перья и тряпья на бумагу, еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах!..

С первых же строк, едва только окунувшись в родную стихию, Гоголь, как рыба в воде, ожил. Куда и робость его делась! Читал он так просто, так естественно, точно и в самом деле говорил это старый пасечник. Когда же среди общего напряженного молчания про-

рывался на том или другом конце комнаты сдержанный смех, по губам читающего пробежала также усмешка, старик-пасечник лукаво посмеивался в бороду: «Будто уж так смешно? Смейтесь на здоровье, люди добрые!»

Когда он дочел свое предисловие, Пушкин опять-таки первый ударил в ладоши; но Жуковский остановил его:

— Это только присказка, сказка впереди.

По прочтении затем и самой сказки — «Вечер накануне Ивана Купала», чтеца наградили еще более шумные рукоплескания, чем давеча Воейкова.

— Вот, господа, чистая родниковая вода, истинная поэзия! — воскликнул Пушкин.

— Ну какая же это поэзия? Это повседневная проза... — стыдливо пробормотал Гоголь, но сам был так счастлив, о, как счастлив!

— Именно поэзия! — продолжал Пушкин. — Даже предисловие пасечника полно безыскусственной красоты. Настоящий комизм есть прекращенное безобразие и восстановленная красота. При случае вы, пожалуйста, еще кое-что мне прочитайте. Вы где располагаете провести лето?

— В Павловске — на кондициях в одном доме...

— Ну вот, чего же лучше? Из Павловска до Царского рукой подать. Я буду жить там — не забудьте! — по Колпинской на даче Китаевой; Василий Андреевич — в Александровском дворце. По образу пешего хождения можете навещать нас хоть каждый день; милости просим.

Глава восемнадцатая

DONNA SOL

Еще до переезда своего на лето в Павловск Гоголю пришлось познакомиться с молодой фрейлиной Александрой Осиповной Россет, которой суждено было впоследствии найти в нем лучшего друга и первого советчика в вопросах религии и совести.

Хотя ей минул всего двадцать год, но, благодаря ее необыкновенно привлекательной наружности, пленительному обращению, живому уму и многостороннему образованию, она играла уже видную роль как в интимном кружке молодой императрицы, так и в литературном мире: в гостиной ее собирались первые тогдашние литераторы, находившие в ней всегда самую отзывчивую и самую влиятельную защитницу от строгостей цензуры. Она умела ценить, впрочем, не только Байрона и Пушкина, но и Рафаэля и Брюлова, Гайдна и Глинку; изучив генерал-бас, она была также прекрасная музыкантша. Чтобы лучше уразуметь восточное богослужение, поучения

Григория Назианского и Иоанна Златоуста, она брала уроки греческого языка; после же урока тотчас отправлялась на дипломатический раут, где беседовала с французским посланником о парижских делах, как старый политик, а вслед за тем перед цветом придворной молодежи рассыпала блески остроумия.

Как благодатное солнце, всех равно освещающее, она получила от князя Вяземского прозвище *Donna Sol*, по имени главного действующего лица в драме Виктора Гюго «Эрнани». Но у нее было, кроме того, несколько не менее лестных наименований: тот же Вяземский титуловал ее еще «мадам Фонвизин» и Ласточкой, Жуковский — вечною принцессой и небесным дьяволенком, Мятлев — Пэри и Колибри, Хомяков — Девой Розой, Глинка — Инезильей. При дворе же она, брюнетка, была известна более под именем Саши Черненькой, в отличие от другой фрейлины, Александры Эйлер, блондинки, Саши Беленькой, как называла их маленькая княжна Александра Николаевна.

Обо всем этом Гоголь слышал еще зимою у

Жуковского и Плетнева, как и о том, что в жилах Россет не было ни капли русской крови [41], но что она провела свое раннее детство в Малороссии, воспитывалась в Екатерининском институте и в душе была настоящей русской.

И вот однажды, в мае месяце, когда он только что давал (по собственным его словам) «прескучный» урок в доме Балабиных и его «бедная ученица зевала», совершенно неожиданно вошла к ним Россет.

— А я пришла проститься с тобой, Мари: послезавтра мы с императрицей переезжаем в Царское, — объявила Александра Осиповна, с любопытством оглядывая учителя-хохла, о таланте которого наслышалась также от его двух покровителей.

Но Гоголь показался ей таким «неловким, робким и печальным», что она оставила его на этот раз в покое. Зато на другой же день по записке Плетнева он был вытребован к половине седьмого вечера к Жуковскому; когда же явился туда, то застал там, кроме Плетнева, еще и Пушкина, который встретил его со смехом:

— Попался, пасечник! Я всегда ведь говорил, что женщины дипломатичнее нашего брата. Пожалуйте-ка теперь с нами.

— Куда? — перепугался Гоголь.

— Очень недалеко: до фрейлинского коридора.

— Но к кому? Неужели...

— К донне Sol? Именно. Она видела вас вчера у Балабиных.

— И взяла с нас слово привести к ней земляка сегодня же во что бы то ни стало, потому что завтра уж перебирается в Царское, — пояснил Жуковский.

— Причем сама подала мысль — не говорить вам вперед, для чего вас вызывают... — добавил Плетнев.

— Потому что знала, что вы упрямый хол, — заключил Пушкин.

Гоголь совсем оторопел.

— Нет, господа, воля ваша, я не могу, ей-ей, не могу!

— Если кто не может чего, то говорит «не хочу»; если же не хочет, то говорит «не могу». Вы можете, но не хотите.

— Да как он смеет не хотеть! — вскричал

Жуковский. — Он должен за великую честь почитать! Вы, Николай Васильевич, поймите, просто глупый молодой человек...

— И невежа, поймите, и грубиян! — подхватил опять Пушкин. — Все должны слушаться Александры Осиповны, и никто не смеет упираться, когда она приказывает.

Под таким градом неотразимых аргументов Гоголь поник головой.

— Ну, слава Богу, кажется, урезонили, — сказал Плетнев, берясь за шляпу. — Меня уж извините, господа, перед Александрой Осиповной: в половине восьмого у меня в институте конференция. Смотрите только, чтобы арестант не сбежал у вас по пути.

— Не сбежит.

— Орест и Пилад! — радостно приветствовала Россет своих двух старых друзей, а затем, когда Пушкин заявил, что они насилу привели к ней упрянца, и просил приютить последнего, чтобы он не хандрил по своей Украине, — она с тою же обворожительною улыбкой обратилась и к Гоголю, схоронившемуся было за широкой спиной Жуковского: — Вас, верно, тоже давит это северное небо, как

свинцовая шапка? Я семи лет уже уехала из милой моей Малороссии на север — на скучный север! — и все вот не могу забыть и хуторов, и степи, и солнца... Однако позвольте вас познакомить с моими двумя подругами.

Подруги эти были сидевшие тут же на диване другие фрейлины императрицы: Урусова и Эйлер.

«Саша Беленькая!» — вспомнилось Гоголю при виде высокой и полной, флегматического вида блондинки-немки.

На столе перед гостями стояла ваза с крупной земляникой.

— Первые ягоды из царскосельских оранжерей, — объяснила молодая хозяйка, накладывая полную хрустальную тарелочку самых сочных ягод и густо посыпая их сахаром. — Вас, Бычок и Сверчок, угостят ваши дамы. Я угощаю теперь только своего земляка. Вы, конечно, не откажетесь?

— Прийде коза до воза, каже: «Ме-е-е!» — отвечал Гоголь скрепя сердце, с натянутой улыбкой.

— Так Хохландией и повеяло! — рассмеялась Рос-сет. — Пойдемте-ка сюда, к окошку:

тут ни один москаль нам не помешает.

Усевшись г земляком у открытого окна, выходявшего на Неву, она завязала с ним оживленную беседу о родной Украине. Что значит, с кем говорить и о чем! Перескакивая с русского языка на малороссийский, а с малороссийского опять на русский, она живо выведала у него все, что ей нужно было, о Васильевке и ее обитателях, а потом принялась сама рассказывать о малороссийском хуторе своей бабушки Громоклее-Водине и аистах на его крышах, о самой бабушке, хорошо говорившей также по-малороссийски, но с грузинским акцентом, о своей бонне швейцарке Амалии Ивановне, выписанной из Невшателя, о своей няне Гопке, которая так стращала ее своими рассказами о Вие...

— Это — вампир греков и южных славян, — подал голос из глубины комнаты Пушкин, прислушивавшийся, по-видимому, к болтовне хохла и хохлушки.

— Сверчок, под печку! — шутливо цыкнула на него Россет и принялась декламировать малороссийские стихи.

— А теперь спойте ему «Грыцю», — сказал

Жуковский. — Угощать так угощать.

Россет, не чинясь, села за фортепиано и затянула: «Ой, не ходы, Грыцю, на вечернюю...». В голосе у нее нашлись такие задушевные ноты, что, когда она кончила, все слушатели просидели еще несколько мгновений молча, как бы ловя улетевшие звуки, а потом все разом вдруг объявили, что она никогда еще так не пела, — все, кроме Гоголя, который только тяжело дышал да хлопал ресницами, точно у него за ними что-то накипало. Певица не могла, конечно, не заметить произведенного не него впечатления.

— Ах, нагла милая, милая Украина! — вырвалось у нее. — Я отдала бы, кажется, все на свете, чтобы увидеть опять нашу чудную степь с ее весенними цветами: колокольчиками, нарциссами, васильками...

— Васильков-то и здесь сколько вам угодно, — сказал Пушкин, — а здешние ландыши даже ароматнее всех ваших степных цветов.

— О, нет, я не согласна! Васильки на Украине ярче; неправда ли, Николай Васильевич?

Гоголь теперь лишь, казалось, очнулся и поспешил подтвердить:

— Ярче, еще бы!..

— Что я говорю? А что до запаха, то есть ли цветы ароматнее тех маленьких цветочков, помните, Александр Сергеевич, что растут в Одессе около моря, голубенькие и беленькие?

— Помню: цветочек это похож на гиацинт и пахнет земляникой и персиком[42]. Но согласитесь все-таки, что здешние ландыши...

— Ни, ни, ни — и слышать не хочу! Против нашего юга я не позволю ничего говорить. Я уверена, что могла бы быть там вполне счастлива вдали от всяких удовольствий.

— Дай вам только хороших книг да добрых собеседников...

— Вроде нас вот, — заметил Жуковский. — В Царском Селе мы, во всяком случае, приложим все старания...

Россет хотела еще что-то возразить. Но тут каминные часы начали бить, и она ахнула:

— Уже девять! Государыня ждет нас, mesdames. Итак, господа, до Царского!

Глава девятнадцатая ДВЕ ПИСАТЕЛЬСКИЕ ИДИЛЛИИ

На «кондициях» Гоголь состоял в течение лета 1831 года в доме княгини Александры Ивановны Васильчиковой, в качестве не столько воспитателя, сколько дядьки ее младшего сына — идиота Васи. О пребывании его в этом аристократическом доме племянник княгини граф Вл. А. Соллогуб — в то время дерптский студент, а впоследствии известный автор «Тарантаса» — оставил в своих «Воспоминаниях» две небольшие, но чрезвычайно характеристичные картинки.

Приехав на вакации к своим родителям в Павловск, Соллогуб отправился вечером на поклон к своей бабушке — Архаровой, жившей вместе со своими приживалками на одной даче с Васильчиковыми. Старушка укладывалась уже спать и послала внука к Васильчиковым.

— Там у них ты найдешь такого же студента, — прибавила она, — говорят, тоже попи-

сывает.

И вот, когда Соллогуб проходил темным коридором, из-за одной двери ему послышался мужской голос, будто прочитывавший.

«Верно, студент», — сообразил молодой граф и тихонько приотворил дверь. Очевидно, то было обиталище одной из бабушкиных приживалок. Кровать ее была прижата к стенке и закрыта ширмами, чтобы дать место круглому столу перед большим старинным диваном. Стол покрыт кумачною скатертью, и посреди его горела лампа под темно-зеленым абажуром. Диван и стулья были настолько ниже стола, что сидевшие вокруг него ярко освещались из-под абажура. Было их четверо: три бедно одетые старушки с вязальными спицами в руках и столь же скромный на вид молодой человек с рукописью перед собою. При входе незваного гостя чтец тотчас умолк.

— Ничего, продолжайте, — покровительственно ободрил его племянник княгини, — я сам пишу и очень интересуюсь русскою словесностью.

Молодой человек откашлялся и продолжал:

— «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!..»

«Кто не слышал читавшего Гоголя, — замечает от себя Соллогуб, — тот не знает вполне его произведений. Он придавал им особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробегавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как маленькие его глаза добродушно улыбались и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами. Описывая украинскую ночь, как будто переливал в душу впечатления летней свежести, синей, усеянной звездами выси, благоухания, душевного простора... Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен; мне хотелось взять его на руки, вынести на свежий воздух, на настоящее его место»...

И вдруг среди своего восторженного гимна украинской ночи молодой украинец произнес грубым мужицким голосом:

— Да гопак не так танцується!

Переход был так неожидан, что все три приживалки опустили на колени свои спицы

и, уставясь поверх очков на чтеца, вскрикнули все в один голос:

— А как же?

Гоголь чуть-чуть про себя усмехнулся и продолжал монолог пьяного Каленика:

— «То-то я гляжу — не клеится все! Что же это рассказывает кум?.. А ну: гоп-трала! гоп-трала! гоп-гоп-гоп!»

На следующий день Соллогуб снова вернулся на дачу к тетке и застал Гоголя с его слабоумным питомцем на балконе. Мальчик полулежал на коленях своего учителя-дядьки, который, сидя на низеньком соломенном стуле, водил пальцем по книжке с картинками, изображавшими разных животных, и предобродушно подражал голосам этих животных:

— Вот это, Васенька, барашек: бе-е-е! Вот это корова: му-у-у! А вот это собачка: гау-ау-ау!

Так-то с убогими старушками и с мальчиком-идиотом проводил свои летние каникулы славный впоследствии юморист! Диво ли, что от этой мертвой обстановки его тянуло в Царское Село к живым людям — к Пушкину и Жуковскому?

Первый визит свой Гоголь счел долгом сделать Пушкину и его молодой жене, которой он до тех пор не был еще представлен. Выбрал он для этого воскресный день, когда мог отлучиться из дому с самого утра. Таким образом, он застал молодых супругов еще за завтраком. Пушкин видимо обрадовался гостю.

— Вот легки на помине! Сейчас ведь только говорил про вас Наталье Николаевне. Позвольте вас познакомить... Да вы верно еще не завтракали?

— Нет...

— Так прошу не побрезгать — чем Бог послал. *A la guerre comme a la guerre*[43].

— *Mais, Alexandre!*..[44] — пробормотала Наталья Николаевна; очень уж прост был завтрак: селедка с печеным картофелем, редиска да простокваша.

— О, господин пасечник тоже деревенский житель, насчет пици не привередлив, — успокоил ее муж. — Для меня нет ничего вкуснее этакого печеного картофеля.

— А для меня простокваши, — уверил Гоголь.

— Ну, вот. Она удивительно освежает,

особливо когда перед тем целое утро проработаешь этак у себя на вышке под накаленной крышей.

— А кабинет у вас наверху?

— Да, в мансарде: никто тебе, знаете, не мешает. Тепленько, правда; но в Одессе, в Кишиневе так ли я еще жарился! С утра совсем даже сносно. С постели прямо в холодную ванну — и за дело. Мысли так и роятся, гонят одна другую, только записывай. Чтобы дух перевести, пройдешься разве по комнате, выпьешь стакан воды со льдом, выйдешь на балкон — подышать свежим воздухом. Глядь — и завтрак на столе. А тут против тебя сидит этакая женочка — картинка писаная, ненаглядная...

— Mais, Alexandre!.. — снова возмутилась было Наталья Николаевна; но муж с такой нежной, примиряющей улыбкой протянул ей через стол руку, что она не могла не протянуть ему навстречу свою руку и смущенно также улыбнулась.

«Недаром он ее так воспевает! — говорил себе Гоголь, который и до этого уже украдкой вскидывал взоры на красавицу-хозяйку, а те-

перь просто глаз не мог оторвать. — „Все в ней гармония, все диво“ — и стан, и профиль. Фидии, Праксители! Где вы, чтобы увековечить эту божественную красоту: „чистейшей прелести чистейший образец“.

Между тем Пушкин заговорил о последних новостях французской литературы, находя в прозе Шатобриана проблески гения, восхищаясь Ламартином, классические стихи которого „столь же прекрасны, как и его душа“, Виктором Гюго, сила которого — в красках и картинах неисчерпаемой фантазии.

— Но это все же не Байрон, не Шиллер, не Гете, — говорил он. — Между гением и большим талантом есть разница, которая не столько сознается, сколько чувствуется.

Гоголь слушал, боясь упустить хоть одно слово. Это была не лекция ученого профессора, а блестящая импровизация поэта.

Что за начитанность и широта взгляда! И в то же время что за простота и ясность изложения!

— Прости, мой ангел: я нагнал на тебя зевоту, — спохватился вдруг Пушкин, когда же на его прикрыла рот рукою. — Ведь десерта

ты нам не предложишь?

Они встали из-за стола. Тут в дверях показалась новая гостья — Donna Sol. Словно солнцем все кругом разом озарилось; даже скучающие черты Натальи Николаевны прояснились, когда Александра Осиповна сообщила ей, что в дворцовом „китайском“ театре затевается спектакль и что ей, Наталье Николаевне, будет также прислано приглашение.

— Не знаю только, поспеем ли до переезда в Петергоф, — озабоченно добавила Россет, — столько возни с костюмами... конечно, не столько, как прошлого зимою на костюмированном балу во дворце, где мне выпала роль *de la Folie du carnaval* (Масленичная шалость).

— А это что такое? — спросила Наталья Николаевна.

— Расскажите, Александра Осиповна, расскажите, пожалуйста! — подхватил Пушкин, которому хотелось, видно, доставить жене хоть некоторое удовлетворение после скучного для нее литературного разговора.

— *La Folie du carnaval* должна была сказать импровизированную речь, — начала Александра Осиповна. — Но никто не хотел за это

взяться. „Сделайте это для меня, Черненькая, — сказала мне государыня, — вас никто ведь не узнает, кроме меня да Жуковского.

Он напишет шутовские стихи по-немецки и по-русски; вы их скажете и закончите по-французски вашей собственной импровизацией“. Так оно и было. Одевалась я у самой императрицы в ее же присутствии. Новый парижский куафер Эме приготовил мне прелестный белокурый парик, который так изменил мою физиономию, что я сама себя в зеркале не узнала. На мой серебряный дурацкий колпак и на лиф мнешили бриллиантов...

— А платье? — любопытствовал Пушкин.

— Платье на мне было из белого атласа с серебром и с серебряными бубенчиками: я, Черненькая, стала совсем беленькой, так что Жуковский сравнил меня даже с мухой в молоке. Шествие было открыто, разумеется, мною, а сзади потянулся целый рой паяцев и шутих в малиновых и голубых с серебром костюмах. Подойдя к их величествам, я прочла стихи Василия Андреевича, сперва русские, потом немецкие...

— А они не сохранились? — позволил себе вставить со своей стороны вопрос и Гоголь.

— К сожалению, нет: Жуковский изорвал их. Могу сказать только, что это была самая удачная галиматья, на которую он такой мастер. После стихов я заговорила по-французски — наговорила всякой всячины о русской масленице, о ледяных горах, качелях и блинах, которые я будто в первый раз вижу, потому что сейчас только прибыла из Парижа, где водили по улицам масленичного быка — le bœuf gras, да из Рима и Венеции, где меня закидали цветами и конфетти. Сидевшие за царской фамилией придворные были совсем ошеломлены моей развязностью и глядели на меня такими испуганными глазами, что я не выдержала и расхохоталась. Тут все меня разом узнали и стали аплодировать. „Французский язык у вас прекрасный, — сказал мне государь, — но вы говорили так быстро, что я ничего не понял“. — „Не мудрено, ваше величество, — отвечала я, — сама я тоже ничего не поняла. Без парика я никогда не решилась бы говорить такой вздор“.

— А кого, скажите, изображали другие да-

мы? — спросила опять Наталья Николаевна.

— Юсупова была Ночью с полумесяцем и звездами из бриллиантов, Annete Щербатова — Bell-de-nuit, Чудо-цветом — так, кажется, называется этот цветок? — вся в белом с серебряными лилиями и каплями росы, Любенька Ярцева — Авророй, вся в розовом, осыпанная розовыми лепестками, Софи Урусова Утренней Звездой, в белом, с распущенными локонами и с бриллиантовой звездой во лбу, Сашенька Беленькая, то есть моя Alexndrine Эйлер — Вечером, в голубом платье с серебром...

Наконец-то была найдена тема, которая заняла все внимание Натальи Николаевны. Молодая фрейлина должна была описать ей также обстоятельно наряды четырех времен года, четырех стихий и участвовавших в заключительной кадрили ундин, сильфов, саламандр и гномов.

— Я вам, Александра Осиповна, несказанно благодарен! — с искренностью проговорил Пушкин. — У вас, как у волшебницы, есть магические слова не только для мужчин, но и для женщин. Когда вы воодушевляетесь так

разными тряпками, не верится даже как-то, чтобы в этой маленькой детской головке могли вмещаться также лейденская банка и Вольтов столб, Лаплас, Лавуазье, Франклин...

— Может быть, я чувствую головою, а думаю сердцем? — отозвалась Россет. — Впрочем, ведь и наш милейший Василий Андреевич — кладезь не только всякой мудрости, но и глупости. Вчера еще он меня так рассердил, а сегодня так рассмешил...

— Опять какой-нибудь „галиматьей“?

— Именно. Пристал, знаете, ко мне вчера, чтобы я сыграла ему вальс Вебера. „Да я ведь играла его вам уже сто раз“, — говорю. „Так вот теперь сыграйте в сто первый“. — „У вас, Бычок, — говорю, — в музыке решительно нет чувства меры. Верно, испортил вам слух камердинер ваш своей дрянной скрипкой“. — „Дрянной? — промычал он. — Как же так? Надо было добыть ему хорошую. А вальс-то мне вы все-таки сыграйте“. — „Нет, не сыграю!“ — „Нет, сыграете“. Ну, словом, так он мне надоел, так надоел, что я его прогнала вон. А сегодня вот поутру он присылает мне преуморительное послание в гекзаметрах — шедевр в

своём роде.

— Как жаль, что вы этого шедевра не захватили с собой! Что же он пишет вам?

— Что мне не из-за чего было „всколыхаться подобно Черному морю“, и спрашивает, чем ему, „недостойному псу“, снова милость мою заслужить? „О, Царь мой Небесный! — восклицает он, -

*Я на все решиться готов! Прикажете ль кожу
Дать содрать с своего благородного тела, чтоб сшить вам
Дюжину теплых калошей, дабы, гуляя по травке,
Ножек своих замочить не могли вы? Прикажете ль уши
Дать отрезать себе, чтоб в летнее время, хлопущей
Вам усердно служба, колотили они дерзновенных
Мух, досаждающих вам неотступной своею любовью
К вашему смуглому личику?..*

— Очень хорошо! — расхохотался Пушкин. — Однако ж память у вас! Видно, много раз перечли?

— Еще бы не перечесть такую прелесть. Но „Царь Берендей“ у него выйдет, кажется, еще лучше. А ваш „Царь Салтан“, Александр Сергеевич, скоро ли поспеет?

— Сегодня как раз окончил. Угодно выслушать?

— Пожалуйста!

— Не подняться ли нам наверх в мой кабинет? Ты, Natalie, тем временем, может быть, распорядишься насчет обеда? Николай Васильевич ведь нынче кушает с нами.

Кабинет поэта, куда снизу вела крутая и тесная деревянная лесенка, представлял небольшую комнату с низким потолком и самого простого убранства. Очистив для гостей место на неуклюжем старинном диване, заваленном книгами, Пушкин прочитал им свою „Сказку о царе Салтане“.

— Нет, нет, не хвалите! — остановил он своих слушателей, когда те стали было выражать свое восхищение. — Я сам теперь вижу, что надо многое еще переделать.

— Вы слишком строги к себе, — заметила Россет. — Одобряете ли вы вообще все то, что прежде написали?

Оживленные черты поэта подернулись облаком грусти.

— И все то, чего я не писал, но что мне приписывают? — сказал он. — Только богатым и верят в долг, а теперь мне приходится краснеть не только за свои долги, но и за чужие. Как глуп человек, когда молод! Мои герои того времени скрежещут зубами и заставляют меня самого скрежетать. Как охотно сжег бы я все это; но как собрать то, что ходит по рукам по всей России?

— И сожгли бы, пожалуй, многое, что может воспламенить молодое сердце.

— Не знаю; все это ужасно молодо, ходульно. Одно только знаю, что никогда не говорил пошлостей, не убивал ни грамматики, ни здравого смысла. Все, что я и теперь пишу, — ниже того, что хотел бы сказать. Мои мысли бегут быстрее пера и на бумаге остывают. Мы все должны умереть, не высказавшись, — заключил Пушкин со вздохом. — Какой язык человеческий может выразить все, что чувствует сердце и думает мозг, все, что предвидит и угадывает душа?

— Как это вам, Александр Сергеевич, с Ва-

силием Андреевичем вообще пришло вдруг в голову писать сказки? — позволил себе спросить Гоголь.

— А что же другое делать обитателям благословенной Аркадии? Потому что мы здесь совсем аркадские пастушки. Вот вперегонку и перекладываем на стихи простонародные сказки, которые слышали когда-то: он — от деревенских старух, которые при этом должны были гладить ему пятки, а я — в моем миллом Михайловском от старушки-няни. А славно там было, что ни говори! Пиши, сколько душе угодно. За окошком только ветер завывает, волки воют, да в комнате рядом порою старые часы зашипят, захрипят, пока не пробьют свой урочный час. Надо бы, право, осенью собраться туда с женочкой...

Увлеченный воспоминанием о деревне, поэт не заметил, что „женочка“ его с полминуты уже стоит в дверях как вкопанная. При последних словах мужа она не выдержала:

— Восхищаться, как завывает ветер, воют волки и бьют старые часы! И для этого-то ты хочешь везти меня в такую глушь? Да ты с ума сошел!

Из прекрасных глаз ее брызнули слезы. Светлое настроение других было уже омрачено, и Россет поспешила проститься.

За обедом Пушкин, как будто нарочно избегая всяких литературных тем, занимал Гоголя рассказами о своем пребывании в Одессе, которая „летом песочница, а зимою чернильница“ (в то время там не было еще ни одной мощеной улицы); после же обеда, под руку с женою, повел его в царский парк к большому пруду и покатали на лодке. Пруд этот, как оказалось, был конечною целью ежедневных послеобеденных прогулок молодой четы. Наталья Николаевна, в широкополой круглой шляпе, удивительно эффектно оттенявшей верхнюю половину ее лица от вечернего солнца, вся в белом, но с пунцовою шалью, обвитою, по тогдашней моде, вокруг плеч, была так поразительно, идеально хороша, что все гуляющие останавливались. Как это обстоятельство, так еще более, быть может, одушевленная, остроумная болтовня мужа совсем ее развеселили. За чаем она также приняла довольно оживленное участие в разговоре, а при прощании с такой любезной

улыбкой попросила гостя — не забывать ее Alexadre'a, что Гоголь не мог не простить ей давешнего обращения ее с мужем: дитя! пастушка!

Да, это подлинная Аркадия... и эта ночь тоже какая-то аркадская: таинственно-мирная, ни листок не шелохнется, словно вся природа кругом затаила дыхание, порою лишь переводя дух томным вздохом, чтобы сейчас опять замереть. Но вот пробежал не шелест, нет, а точно неслышный, угадываемый только трепет, согласное биение тысячей тысяч мировых сердец, и собственное сердце твое охватывается тем же трепетом, начинает биться влад с другими, и тебе становятся вдруг понятными мировая любовь, мировое благо...

Глава двадцатая ГРОЗНАЯ ГОСТЬЯ

Немного дней — и царскосельская идиллия лишилась двух своих членов: Жуковского и Россет; с временным переездом императорской фамилии в Петергоф они также покинули Царское. Оставался один Пушкин с женою; но слишком часто надоедать Наталье Николаевне своим присутствием Гоголь стеснялся, и, таким образом, большую часть дня волей-неволей проводил со своим слабоумным воспитанником. Между тем шаг за шагом на-двинулась индийская гостья — холера морбус. Ни в Павловске, ни в Царском, правда, не было еще ни одного случая заболевания этой новою в то время и потому еще более ужасною болезнью; но до Петербурга она уже добралась и начала расправляться с народом, как лютей, беспощадный враг, косить без разбора и богатых и бедных. Как на грех, ягоды в 1831 году уродились в небывалом изобилии, продавались за бесценок — только бы объедаться; да что поделаешь с проклятою

мнительностью, унаследованной от маменьки! Мухи вот, как ни в чем не бывало, разгуливают себе по тарелке с мухомором, обсыпанным сахаром, точно им смерть на роду не писана, хотя между сахаром тут же валяются уже десятками трупы таких же мух. Но человек — не муха, видит очень хорошо, как к нему подбирается эта загадочная грозная гостья, — подкралась и хлоп! — без ружья уложит!

«Нынешние всеобщие несчастья заставляют меня дрожать за бесценное здоровье ваше», — писал Гоголь матери, посылая ей несколько рецептов от холеры. Пушкин же более тяготился карантинном, которым оцепили Царское и Павловск.

— Столица пошаливает, — говорил он, — а провинция отдувайся своими боками; совсем, как бывало при королевских дворах: за шалости принца секли пажа.

«Шалости» столицы, однако, принимали уже нешуточные размеры. Столичная чернь, обуянная ужасом от массы смертных случаев и от нелепого слуха, будто бы доктора для распространения заразы нарочно отравляют во-

ду, ворвалась в холерную больницу, устроенную в большом доме Таирова на Сенной площади, и выбросила из четвертого этажа на улицу докторов; но император Николай Павлович, прибывший на пароходе из Петергофа, своим мощным царским словом разом успокоил обезумевших. Подробности об этом в Царское Село привез Жуковский, который возвратился туда уже во второй половине июля вместе с высочайшим двором. Сам Жуковский хотя и не был свидетелем холерных волнений, но слышал об них из первых рук — от царского кучера и от князя Меншикова, сопровождавшего государя из Петергофа.

— В самую критическую минуту народного помрачения молодой император наш выступил во всем своем царственном величии, — говорил он. — Прямо с парохода государь сел в открытую коляску, и по всему пути его до Сенной, центра беспорядков, народ несметной толпой бежал за ним. Подобно одинокому кораблю среди бушующих волн, царская коляска остановилась на краю площади у церкви Спаса, посреди шумящей черни. Но вот государь приподнялся в экипаже, и маги-

ческим обаянием его величественной фигуры, его строгого вида, его звучного голоса, покрывшего окружающий гам и гул, все это безначальное полчище тысяч в двадцать — двадцать пять было разом покорено и смолкло. Среди общей тишины раздавался один только голос, «как звон святой», по выражению царского кучера...

— Как жаль, что никто не мог записать государевых слов! — заметил Гоголь.

— Никто их хоть и не записал, — отвечал Жуковский, — но Меншиков, бывший в коляске вместе с государем, передал мне эту истинно державную речь, как уверял он, почти дословно. «Венчаясь на царство, — говорил государь, — я поклялся поддерживать порядок и законы. Я исполню мою присягу. Я добр для добрых: они всегда найдут во мне друга и отца. Но горе злонамеренным! Нам послано великое испытание — зараза; надо было принять меры, дабы остановить ее распространение; все эти меры приняты по моим повелениям. Горе тем, кто позволяет себе противиться моим повелениям. Теперь расходитесь. В городе зараза; вредно собираться тол-

пами. Но наперед следует примириться с Богом. Если вы оскорбили меня вашим непослушанием, то еще больше оскорбили Бога преступлением; невинная кровь пролита! Молитесь Богу, чтобы Он вас простил!» При этом государь обнажил голову и, обернувшись к церкви, набожно перекрестился. Тут вся толпа, как один человек, пала в раскаянье на колени, принялась молиться. Волнения как не бывало. Царский экипаж медленно проехал далее, и площадь, как после оконченного торжища, в несколько минут опустела.

К концу июля, благодаря принятым мерам, страшная эпидемия в Петербурге начала ослабевать; но карантин, окружавший Царское Село и Павловск, еще не снимался, и все сношения поэтов-идилликов с остальным миром ограничивались письмами, которые на почте протыкались и окуривались. Из корреспондентов их особенно пал духом Плетнев, которого никогда не унывавший Пушкин не преминул ободрить добрым словом:

«Эй, смотри: хандра хуже холеры; одна убивает только тело, — другая убивает душу. Дельви́г умер, Молчанов умер,

погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата, мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычовки, а детки будут славные, молодые ребята; мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать, а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».

Сам Пушкин с Жуковским продолжали изоощряться в писании веселых стихов и особенно сказок.

«О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из под пера сих мужей, — писал Гоголь своему другу Данилевскому в Сорочинцы. — У Пушкина повесть октавами писанная — „Кухарка“ [45], в которой вся Коломна и петербургская природа живая. Кроме того, сказки русские народные, — не то, что „Руслан и Людмила“, но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами, и прелесть

невообразимая[46]. У Жуковского тоже русские народные сказки, одни гекзаметрами, другие четырехстопными стихами, и — чудное дело — Жуковского узнать нельзя».

Насколько простые приятельские отношения установились у Гоголя с Пушкиным, видно уже из того, что даже письма к себе он просил родных адресовать в Царское Село на имя Пушкина.

Когда он в августе месяце собрался в Петербург, куда звали его как преподавательские обязанности в Патриотическом институте, так и хлопоты по изданию «Вечеров на хуторе», — Пушкин поручил ему отвезти Плетневу рукопись своих «Повестей Белкина».

Особенно, впрочем, торопиться Гоголю на службу, оказалось, было нечего. Когда он вошел в подъезд института, швейцар с поклоном объявил ему, что нигде не велено пускать.

— Как не велено? Почему?

— Карантин-с.

— Но ведь, по газетам, холера в Петербурге совсем прекратилась?

— По газетам, да-с, но госпожа начальница все же опасаются.

Гоголь вышел на середину улицы и окинул оттуда взором все здание института: не выглянет ли кто? А там, у закрытых окон, действительно, стояло уже несколько воспитанниц среднего возраста — учениц его, которые обрадовались ему точно так же, как он им, и на поклон его весело ему закивали. Он пожал с соболезнованием плечами, вторично снял шляпу и повернул обратно к набережной. А за окнами продолжали следить за ним:

— Mesdames! Смотрите, Гоголь! Он жив, слава Богу!

— Mesdames! Он и на улице машет платком! Когда в начале сентября двери института наконец открылись, Гоголь застал в приемной трогательную группу: несколько классных дам обступили какую-то молоденькую барышню в глубоком трауре, горько плачущую, и наперерыв ее обнимали, утешали. Гоголь поспешил проскользнуть мимо, но, войдя в класс и поздоровавшись с ученицами, спросил их о виденной сейчас сцене.

— Как! Вы не знаете Вальпульскую? —

вскричали те хором. — Ведь это дочь нашего бедного, милого Вальпульского!

— Немецкого учителя? Да разве он умер?

— Умер, умер от этой ужасной холеры! Так же, как и француз Бавион; но Бавиона не так уж жалко: он учил у нас недавно.

— Так и меня вам не было бы жалко?

— Что вы, Николай Васильевич! Некоторые из нас сшили по Вальпульском на свои салфетки черные кольца с плерезами. И по вас бы сшили.

Суеверного Гоголя покорило.

— Благодарю покорно! — сказал он с натянутой улыбкой. — А как же старик Вальпульский-то не уберется?

— Да он сам сглазил: «Если холера может приключиться от кваса и ботвиньи, — говорил он нам, прощаясь, — то я наверное помру, потому что не могу жить летом без ботвиньи». — «Нет-нет, пожалуйста, не кушайте ее!» — закричали мы. А вот оно так и вышло!

Еще более института, впрочем, занимал теперь Гоголя набор его книги, которая печаталась в казенной типографии Министерства народного просвещения. Когда он в самый

день своего приезда в Петербург заглянул в наборную и спросил, почему в течение всего лета ему не присылалось в Павловск ни одной корректуры, все наборщики, стоявшие рядом за своими станками, вместо ответа запрыскали в руку. Он отправился в контору к фактору. Тот стал было оправдываться карантинном и множеством работы, но в заключение признался, что во время холеры с рабочим людом просто сладу не было: с горя целые дни гуляют: все одно, мол, помирать-то.

— Ну, моя книжка перед смертью, во всяком случае, их несколько развеселила, — сказал Гоголь. — Когда я сунулся в наборную, они, уже глядя на меня, зафыркали.

— Да-с, ваши штучки очень даже, можно сказать, до чрезвычайности забавны, — согласился фактор, — и наборщикам нашим принесли большую пользу.

«Из этого я заключил, что я — писатель совершенно во вкусе черни», — писал затем Гоголь Пушкину.

Благодаря постоянным его напоминаниям в типографии, «Вечера на хуторе» увидели свет Божий уже в первой половине сентября,

и счастливый автор поспешил поделиться своею радостью с дорогими его сердцу людьми в нижеследующем, вполне «гоголевском» письме к Жуковскому, который, как и Пушкин и Россет, жил еще в Царском:

«Насилу мог я управиться с своею книгою и теперь только получил экземпляры для отправления вам. Один собственно для вас, другой для Пушкина, третий с сентиментальною надписью для Россет, а остальные — тем, кому вы по усмотрению своему определите. Сколько хлопот наделала мне эта книга! Три дня я толкался из типографии в цензурный комитет, и наконец теперь только перевел дух. Боже мой! Сколько экземпляров я бы отдал за то, чтобы увидеть вас хоть на минуту. Если бы, — часто думаю себе, — появился в окрестностях Петербурга какой-нибудь бродяга, ночной разбойник, и украл этот несносный кусок земли, эти 24 версты от Петербурга до Царского Села, и с ними бы дал тягу на край света, или какой-нибудь проголодавшийся медведь упрятал их, вместо завтрака, в свой медвежий желудок. О, с каким бы я тогда восторгом стряхнул власами головы моей

прах сапогов ваших, возлег у ног вашего превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст ваших, приуготовленный самими богами из тьмо-численного количества ведьм, чертей и всего любезного нашему сердцу. Но не такова досадная действительность или существенность. Карантинны превратили эти 24 версты в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только? Что э... но вы не поверите мне, назовете меня суевером; что всему этому виною никто другой, как враг честного креста церквей Господних и всего огражденного святым знамением. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил сбоку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся мимо его и во мгновение ока очутился в Петербурге, на Вознесенском проспекте, и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару, под высокими домами. Это была радостная минута; она уже прошла. Это случилось 8 августа, и к вечеру того же дня стало все снова

скучно, темно, как в доме опустелом:

*...Окна мелом
Забелены, хозяйки нет;
А где — Бог весть! пропал и след!
[47]*

Первая подробная и довольно благоприятная рецензия о „Вечерах“ появилась тотчас по выходе книги в болгаринской „Северной Пчеле“ (20 и 30 сентября). Вслед за тем (3 октября) в „Литературных прибавлениях к „Русскому Инвалиду“ издатель их Воейков напечатал извлечение из письма к нему Пушкина, который, рассказывая о том, как фыркали наборщики при виде автора „Вечеров“, говорил, что „Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков“, и поздравлял публику „с истинно веселою книгою“, а автору „сердечно желал дальнейших успехов“.

Отзыв нашего первого поэта был немедленно перепечатан во французском переводе в еженедельнике „Le miroir“.

А как же отнеслась „публика“ к автору-дебютанту? В три месяца с небольшим, к началу следующего (1832) года, первое издание

книги его уже разошлось, и надо было подумать о новом наборе.

Общий курс школы жизни был Гоголем пройден, экзамен сдан успешно. Чего же более? Но и в школе жизни для „мастеров дела“ есть еще свой специальный класс, и сам Пушкин взялся быть его наставником в этом классе.

Глава двадцать первая В СПЕЦИАЛЬНОМ КЛАССЕ ШКОЛЫ ЖИЗНИ

В осеннюю пору деревня представляла для Пушкина, как известно, особенную прелесть. Хотя дача и не могла заменить ему деревни, но в Царском Селе дышалось все же гораздо легче, чем в Петербурге, и он перебрался сюда на зимнее житье только с заморозками в октябре. Тут один из первых визитов его был к Гоголю, который между тем устроился на новой квартире (в четвертом же этаже на Офицерской, в доме Брунста).

— А у вас здесь, ей-Богу, прेमило, — говорил Пушкин, озираясь в просторном и, действительно, очень уютном жилье. — Вся эта обстановка, конечно, хозяйская?

— Нет, моя собственная, — отвечал Гоголь, самодовольно потирая руки. — Кое-что у меня уже имелось с первого приезда в Питер; остальное: вот письменный стол с креслом, бюро, да вон старинные гравюры на стене прикупил теперь на толкучке...

— На толкучке!

— А что вы думаете: там такие сокровища, каких в ином большом магазине не найдете.

— Но мебель как будто совсем новая, сейчас только отполирована...

Тонкая усмешка пробежала по губам Гоголя.

— Значит, не даром столько политуры и сил потратил!

— То есть как вас понимать? Не собственноручно же вы полировали?

— Вот этими самыми руками; и дешево, знаете, и сердито.

— Не знал я за вами таких талантов! Но хорошенькие занавески эти не сами же вы смастерили?

— Выкроил сам и показывал, как шить.

— Bravo! Как станем с Натальей Николаевной обзаводиться своим домком, так позволим себе вас также обеспокоить. Зашел я, однако, сегодня к вам не за этим.

*Но умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил.*

В каком положении, скажите, ваш второй

сборник «Вечеров диканьских»?

— Покамест в переходном, так сказать, в неглиже: нет ни одной штуки вполне отделанной, чтобы можно было показать вам.

— Ну, со своим братом писателем вам нечего чиниться. Меня интересует именно ваше творчество. Покажите-ка, покажите, что у вас наготовлено.

Пушкин, сам Пушкин интересовался его творчеством!

Гоголь выгрузил на стол весь ворох своих писаний и торопливо начал перелистывать их, не зная, на чем остановиться. Но Пушкин решил вопрос, наложив руку на самую объемистую тетрадь:

— Ведь я вам, душенька, все равно ничего не прощу. Что это такое? «Ночь перед Рождеством»? Ну, вот и извольте читать.

Гоголь послушно сел и стал читать. Бесподобные сцены Солохи с чертом, Вакулы с Оксаной, и т. д., и т. д., над которыми с тех пор более полувека хохочет вся грамотная Россия, впервые развернулись тогда перед Пушкиным, который не раз во время чтения награждал автора самым искренним смехом.

— Это, пожалуй, еще лучше всех прежних рассказов пасечника, — заметил он, когда Гоголь закрыл тетрадь. — Тут не столько даже остроумия, сколько здорового юмора: острота смешит, юмор веселит.

— А вы не сделаете мне никаких замечаний? — спросил Гоголь, которому такая похвала как хмель ударила в голову.

— Сегодня — нет, — уклонился Пушкин, — сегодня я гость и смакую только. Но одним глазком я охотно заглянул бы еще в ваш чуланчик с сырой провизией. У вас ведь тоже, конечно, имеются разные летучие заметки?

— Как не быть...

— Ну, так выкладывайте-ка свое сырье, из которого стряпаются потом такие вкусные вещи, как эта «Ночь перед Рождеством».

Делать нечего — пришлось выкладывать свое «сырье». Как знаток-антикварий, попавший к другому собирателю древностей, с одинаковым интересом разглядывает и большую мраморную статую и миниатюрную, но редкую камею, так же точно Пушкин с неослабевающим любопытством перебирал выложенную перед ним рукописную грудку, не пропус-

кая ни одного клочка бумаги с случайной заметкой, набросанной карандашом. Всего более же заняла его записная тетрадка Гоголя за время путешествия его из Полтавы в Петербург: тут были не только мимолетные наблюдения туриста — описания местностей, одежд и нравов, но и целые разговоры с встречными людьми.

— Да вы просто Крез! — сказал Пушкин. — И способ, которым вы собираете ваши богатства, надо сознаться, гораздо систематичнее моего.

— А ваш способ какой? — спросил Гоголь.

— Как накопится у меня в голове запас наблюдений, я нарежу себе пачку билетиков, сделаю на каждом подходящий ярлык и положу всю пачку в вазу на рабочем столе. А выдаться раз свободная минута, — достану из вазы наугад, как в лотерее, тот или другой билетик, и какой бы мне тут ни попался заголовок, например, «Державин» или «Русская изба», в памяти моей разом восстанет все то, что мне хотелось сказать о Державине или русской избе...

— И вы тотчас записываете все на том же

билетике?

— Если найдется на нем место; если же нет, то продолжаю на другой бумажке. Много, конечно, так и останется без употребления; но наследникам моим будет хоть чем пополнить посмертное издание моих сочинений! — с грустною шутливостью добавил Пушкин. — Сами же вы, Николай Васильевич, оставайтесь при вашей системе. Не все в ваших самородках золото, есть и шлаки; но я помогу вам отделить их, по пословице: кого люблю, того и бью.

Так все более сближались наши два великие писателя, хоть звезда одного из них стояла уже в зените, а звезда другого едва восходила над горизонтом. Встречались они не только друг у друга, но и у Жуковского, Плетнева и Россет. На одном из понедельников у последней Гоголь удостоился читать свою «Майскую ночь» великому князю Михаилу Павловичу; в другой понедельник — самому государю. Государь обошелся с молодым писателем очень милостиво, поговорил с ним о Малороссии, о гетманах Хмельницком и Скоропадском, а когда узнал, что Гоголь прихо-

дится внучатым племянником покойному министру юстиции Трощинскому, то отозвался с большою похвалою об этом выдающемся сотруднике Екатерины II и Александра I. Тут речь зашла и о верности старых русских слуг.

— Никто так звучно не воспел их, как наш Искра, — сказала Россет, давшая Пушкину, между прочим, и это прозвище. — Его няня Арина Родионовна будет вечно жить в его чудных стихах.

— Прочитай-ка нам что-нибудь про нее, Пушкин, — предложил государь.

Пушкин, немножко подумав, стал читать свое несравненное стихотворение: «Наперсница волшебной старины», где няня и бабушка поэта Марья Алексеевна Ганнибал (еще ранее няни рассказывавшая ему семейные предания) сливаются в один общий образ музы-старушки, а та внезапно превращается в молодую красавицу-музу.

— Какие восхитительные, мелодичные стихи! — сказал государь.

— И как плохо прочтены! — подхватила Россет. — Он вечно мчится галопом!

— Однако вы обращаетесь с поэтом без це-

ремонии.

— Это мой самый строгий цензор, гораздо строже вашего величества, — сказал Пушкин. — Он уважает только поэзию, а не поэтов, которых третирует свысока. Но ухо у нее верное и музыкальное.

— В таком случае, ты на будущее время приноси свои новые стихи ей, а она уже будет передавать их мне на последнюю цензуру: она будет твоим фельдъегерем ко мне.

По уходе государя разговор сделался опять общим. Было тут немало людей умных и остроумных, каждый считал долгом подсыпать свою щепотку аттической соли; это была как бы скачка остроумцев, но Пушкин вел скачку и своими неожиданными выводами опрокидывал всякие соображения.

— Ну, Пушкин, — заметил Жуковский, — ты так умен, что с тобой говорить невозможно. Чувствуешь, что ты неправ, и, однако, с тобой соглашаешься.

Ответом Пушкина был тот звонкий, чисто-сердечный смех, которому так завидовал Брюллов, говоривший: «Какой счастливец Пушкин! Смеется, словно кишки видны».

Один только новичок и дичок Гоголь не принимал участия в оживленной беседе «аристократов ума и литературы». Но, сидя в стороне, он не сводил глаз с Пушкина и тихомолком заносил слова его в свою карманную записную книжку.

— Записывайте, записывайте, — сказала ему, подходя, молодая хозяйка. — Сверчок ныне особенно в ударе; это какой-то фейерверк. Знаете ли вы, что говорил он мне про ваши заметки, которые вы показывали ему на дому? — продолжала она, таинственно понижая голос. — «Я просто поражен наблюдательностью нашего молчальника-хохла! — говорил он. — Хохол все видит, все слышит, схватывает самые неуловимые оттенки, особенно же все смешное. Но он не только смеется: он бывает и грустен; он рассмешит, но заставит и плакать. И помяните мое слово: раньше десяти лет он будет русским Стерном!»

— Это предсказал сам Александр Сергеевич?

— Да, а вы уж постарайтесь оправдать его предсказание, слушайте его советов. Он вас, кажется, сердечно полюбил.

— Кажется, что так; по крайней мере, обещался применить на мне поговорку: кого люблю, того и бью.

Испытать на себе силу этой поговорки Гоголю пришлось, действительно, в полной мере. Сколько раз, бывало, в течение последующей зимы Пушкин взбегал к нему на четвертый этаж и засиживался у него до глубокой ночи, беспощадно очищая его самородки в огненном горниле своей художественной критики.

В том же доме и на одной даже лестнице с Гоголем проживал в 1831 году безвестный еще тогда музыкант Штейн, впоследствии профессор Петербургской консерватории. Познакомившись со Штейном, Гоголь нередко заходил к молодому соседу, когда тот фантазировал на фортепиано. И вот однажды, когда Штейн, возвратясь поздно из гостей, огласил опять лестницу чарующими звуками, в комнату к нему ворвался Гоголь. Вид у него был до того расстроенный, что Штейн испугался.

— Что с вами, Николай Васильевич? Что случилось?

— Ничего, ничего... играйте... — пробормо-

тал Гоголь, бросаясь на диван.

Штейн снова заиграл. Но вдруг ему, сквозь музыку, почудились со стороны дивана всхлипы. Что за диво! Он прекратил игру и оглянулся: Гоголь, этот невозмутимый флегматик, беспардонный насмешник, припал лицом на руки и рыдал, да, рыдал!

Но когда Штейн подошел к нему и участливо тронул его за плечо, Гоголь сердито буркнул:

— Ах, оставьте меня!.. Играйте, пожалуйста... ста...

— Музыка вас еще более расстроит, — сказал Штейн. — Не заходил ли к вам опять господин Пушкин?

Имя Пушкина как острым ножом разбредило свежую рану.

— О, не называйте его! — вскричал Гоголь в полном отчаянье. — Он меня ни в грош не ставит, он меня презирает!..

— Но за что?

— Какая жизнь после этого? — не слушая, продолжал всхлипывать Гоголь. — Одно только и остается — умереть...

Немало труда стоило Штейну выпытать

у бедняги, в чем дело. Оказалось, что Пушкин распушил его в пух и прах за его «невежество».

— И он прав, он тысячу раз прав! — в порыве самобичевания восклицал Гоголь. — Что такое талант без знания?

— Но вы же прошли университетский курс?

— В гимназии «высших наук» — да. Но известны ли мне на самом деле эти высшие науки? Знаю ли я сколько-нибудь иностранные литературы? Что я читал? Я — невежда, я — круглый невежда! Каким же могу я быть писателем, глашатаем народным, когда сам едва разбираю азы?

— А господин Пушкин не назвал вам разве книг, которые вам следует прочитать?

— Некоторые назвал...

— Так и прочитайте. Вы еще так молоды, что можете перечитать, выучить наизусть хоть сотню книг.

И, чтобы поскорее успокоить нервы своего несчастного приятеля, Штейн сыграл ему одну из духовных пьес Гайдна, смягчающих своею величественною, стройною гармонией са-

мое ожесточенное сердце[48].

Советы Пушкина Гоголю относительно чтения иностранных писателей и мыслителей не остались бесплодными: в записках А.О. Россет-Смирновой перечислены следующие сочинения, прочитанные Гоголем по совету Пушкина: по английской литературе — те из драм Шекспира, которые имелись уже тогда в русском переводе, по испанской — «Дон-Кихот» Сервантеса (во французском переводе), по немецкой (в оригинале) — кроме Шиллера, уже известного Гоголю, «Фауст», «Вильгельм Мейстер» и некоторые другие произведения Гете, «Натан Мудрый» и «Гамбургская драматургия» Лессинга; наконец, по французской (также в оригинале) — трагедии Расина и Корнеля, комедии Мольера, сказки Вольтера, басни Лафонтена, «Опыты» («Essais») Монтеня, «Мысли» Паскаля, «Персидские письма» Монтескье, «Характеры» Лабрюйера.

Отчаиваться Гоголю, в действительности, было нечего. Благодаря чтению, а также постоянному общению с живыми носителями русской поэзии и мысли, литературный и умственный кругозор его все более расширялся.

И Пушкин стал относиться к нему уже не как к нерадивому ученику, а как к даровитому младшему товарищу. В течение всех пяти лет, которые Гоголь оставался еще в Петербурге, Пушкин не переставал забегать к нему и целые вечера проводил с ним с глазу на глаз. Гоголь прочитывал, а Пушкин то ободрял его добрым смехом, добрым словом, то делал какое-нибудь меткое замечание. Иной раз, впрочем, и сам Пушкин приносил свои новые стихи. По своей живой натуре, он нередко горячился, но уходил почти всегда в наилучшем расположении духа.

— Еще ни у одного писателя, — говорил он, — не было этого дара выставлять так ярко пошлость человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула крупно в глаза всем.

Только слушая первые главы «Мертвых душ», в первоначальной редакции которых, по заявлению самого Гоголя, были выведены не люди, а «чудовища», Пушкин делался все мрачнее и мрачнее, пока не воскликнул:

— Боже, как грустна наша Россия!

Однажды, после продолжительной отлуч-

ки из Петербурга, Пушкин, зайдя опять к Гоголю, не застал его дома.

— Да вам чего? — спросил Яким, когда Пушкин тем не менее, как был «в шинельке», вошел в кабинет барина. — Записочку написать?

— Нет, не записочку, — был ответ, — а посмотреть, не сочинил ли твой барин чего новенького, хорошенького.

И, говоря так, Пушкин принялся рыться в разбросанных на письменном столе бумагах отсутствовавшего хозяина.

А уж как сам Гоголь ценил такую привязанность к нему Пушкина!

«Не робей, воробей, дерись с орлом!» — говорил он когда-то, когда мнил себя поэтом. Теперь, напротив, сам орел побратался с ним, признал его орленком. Мало ли на свете пород орлиных? Не нынче-завтра он сам станет орлом, которому будет от всех птиц почет.

Еще летом 1831 года Гоголь отказался от всякой денежной помощи матери. Теперь он по несколько раз в год стал посылать ей и сестрам разные столичные гостинцы: браслеты, перчатки, башмаки, ридикюли, ковры,

конфеты и т. п. Когда ответ на одну из таких посылок затерялся, он шутливо посоветовал матери:

«В предотвращение подобных беспорядков, впредь прошу адресовать мне просто Гоголю, потому что кончик моей фамилии я не знаю куда делся. Может быть, кто-нибудь поднял его на большой дороге и носит, как свою собственность».

Посылая ей (в марте 1832 года) на расходы по свадьбе своей старшей сестры Машеньки, или, как ее теперь звали, Marie, 500 рублей, он раз навсегда отказался и от протекции провинциалов:

«Вы все еще, кажется, привыкли почитать меня за нищего, для которого всякий человек с небольшим именем и знакомством может наделать кучу добра. Но прошу вас не беспокоиться об этом. Путь я имею гораздо прямее и, признаюсь, не знаю такого добра, которое бы мог мне сделать человек. Добра я желаю от Бога, и именно — быть всегда здоровым и видеть вас всегда здоровыми. Верьте моему слову, маменька, что все, кроме этого, гниль и суета».

Когда затем мать попыталась затронуть общеинтересную тему, сын отозвался так:

«Вы спрашиваете меня, появилась ли точно комета в Петербурге? Охота же вам заниматься ею! Мало ли подобной дряни является каждый год! По мне хоть бы двадцать комет засветило вдруг и все звезды по-прицепляли к себе длинные хвосты, придерживаясь старой моды, мне бы это не больше принесло радости, как прошлого года упавший снег. Впрочем, когда вы мне объявили, что есть комета, то я нарочно обсматривал по несколько часов небо, но никакой звезды, даже короткохвостой или куцей, не встретил».

Таким же полупрезрительным юмором дышали и многие из писем его к Данилевскому, как например, от 30 марта 1832 года, где по поводу приезда в Петербург их общего школьного товарища, Кукольника, которого оба никогда недолюбливали, говорится:

«Возвышенный все тот же; трагедии все те же. „Тасс“ его, которого он написал уже в шестой раз, необыкновенно толст, занимает четверть стопы бумаги. Характеры все необыкновенно благородны, полны самоотвержения, и

вдобавок выведен на сцену мальчишка тринадцати лет, поэт и влюбленный в Тасса по уши. А сравнениями играет, как мячиками: небо, землю и ад потрясает, будто перышко. Довольно, что прежние: „губы посинели у него цветом моря“ или „тростник шепчет, как шепчут в мраке цепи“ — ничто против нынешних».

Кукольник, сам, видно, чувствуя, что ему не место в кружке Пушкина и Гоголя, тогда уже примкнул к противоположному лагерю — Греча, Булгарина и Сенковского.

Что касается других нежинцев, то Гоголь еще с осени 1831 года завел для них у себя постоянные вечера, для которых нарочно сам приготавливал особые шоколадные сухарики.

«Что тебе сказать о наших? — писал он Данилевскому. — Они все, слава Богу, здоровы, прозябают по-прежнему, навещают каждую среду и воскресенье меня, старика».

Орленок, в предчувствии своей будущей силы, возносился, пожалуй, даже чересчур над воробьями, чижам и прочей птичьей мелюзгой.

Глава двадцать вторая ДИПЛОМ НА «МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА»

«Век живи — век учись», гласит народная мудрость. Школа жизни, в обширном смысле слова, продолжается, конечно, целую жизнь; в тесном смысле это — период «ученичества», пока человек из «учеников» не выработается до степени «мастера». Талант Гоголя рос не по дням, а по часам; последняя редакция каждого нового его произведения по-прежнему не миновала руки гениального учителя — Пушкина. Так, уехав раз в деревню, Пушкин взял с собой для просмотра и рукопись первой комедии ученика — «Женихи» (переименованной затем в «Женитьбу»).

К нему же Гоголь обращался за новыми темами:

«Сделайте милость, — взывал он в одном письме, — дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать комедию... Ду-

хом будет комедия из пяти актов и, клянусь, куда смешнее черта».

И Пушкин великодушно уступил ему две собственные темы, из которых Гоголь создал неподражаемую комедию («Ревизор») и несравненный бытовой роман («Мертвые души»).

Но еще до этого ученик справился со своей образцовой работой на звание «мастера», выпустив в 1835 году в свет третий сборник рассказов — «Миргород». Из числа их «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», написанная еще в 1831 году и впервые напечатанная в альманахе Смирдина «Новоселье» в 1834 году[49], составляла как бы переход от былей и небылиц пасечника Рудого Панька к новому роду гораздо глубже продуманных рассказов: «Вий», «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба». Незадолго еще перед тем выступивший в журналистике критик, занявший, однако, между собратьями по перу очень скоро первенствующее положение, — Белинский ранее всех приветствовал в авторе «Миргорода» первоклассного юмориста-художника. Звание «мастера» было признано за

Гоголем официально; недоставало только диплома; но и тот, как мы сейчас увидим, был ему выдан в начале лета 1836 года до отъезда его на многие годы за границу.

«А как же жилось Гоголю в течение последних пяти лет?» — любопытствуют, может быть, читатели.

Задача наша — рассказать об «ученичестве» Гоголя — исполнена, и потому в ответе нашем на возможный вопрос мы ограничимся только главнейшими фактами.

Не перенося петербургского болотистого климата, Гоголь постоянно хворал и летом 1832 года собрался «на подножный корм» на родину к матери и сестрам.

«Наши нежинцы почти все потянулись на это лето в Малороссию, даже Красненький уехал, — извещал он Данилевского (15 июня 1832 г.). — А в июле месяце если бы тебе вздумалось заглянуть в Малороссию, то застал бы и меня, лениво возвращающегося с поля от косарей или беззаботно лежащего под широкой яблоней, без сюртука, на ковре, возле ведра холодной воды со льдом, и проч. Приезжай!»

Но поездка эта принесла ему мало пользы. В письме из Васильевки к новому московскому знакомцу, молодому профессору Погодину, он жаловался, что «один вид проезжающего экипажа производит в нем дурноту», что иногда он ощущает «небольшую боль в печенке и в спине; иногда болит голова, немного грудь». Только к сентябрю месяцу он несколько опять поправился, но не совсем, потому что «никак не могу здесь соблюдать диеты (сознавался он в другом письме к тому же Погодину). Проклятая, как нарочно в этот год, плодovitость Украины соблазняет меня беспрестанно, и бедный мой желудок непрерывно занимается варением то груш, то яблок».

Собираясь обратно в Петербург, Гоголь решил взять с собой и двух своих сестриц-подростков: Annette и Лизоньку, чтобы определить их в Патриотический институт. Тут встретился, однако, протест со стороны матери, которая никак не могла допустить, чтобы девочки ехали в такую даль только с братцем да с его человеком Якимом. И вот, за три дня до отъезда, Яким был повенчан с горничной Матреной, которая, сопровождая затем мужа

в Петербург, приняла барышень в свое непосредственное ведение. Впрочем, надо отдать брату честь, что он постоянно заботился о том, чтобы сестрицы не скучали: проездом через Москву он показал им белокаменную и свез их в театр; в Петербурге точно так же несколько раз был с ними в театре, зверинце и других местах, накупил им игрушек и сластей, причем строго наблюдал за тем, чтобы девочки не объедались, хотя сам не мог служить им в этом отношении примером (в бюро у него всегда имелся запас орехов и засахаренных слив). Раз купил он таким образом большую банку варенья; когда же Лизонька, получившая свою порцию, пристала к нему дать ей еще, он схватил ложку и стал ей показывать, как ест один его обжора-знакомый.

— Вот этак... хорошо, а? А другой, смотри-ка, так тот ест еще этак...

Лизонька покатывалась со смеху и не заметила, как опорожнилась вся банка.

Пристроив девочек в институт, Гоголь и там продолжал снабжать их не только лакомствами, но и всякой всячиной, и обе до самой смерти брата видели в нем как бы второго от-

ца. Одна только старшая, замужняя сестра Marie, не признавала уже его авторитета, решила оспаривать его мнения, за что ей при случае и доставалось от брата.

«Я думаю, что сестра моя хворает, охает и приготовляет новые философские мудрые изречения по поводу весны, — подтрунивал он в письме к матери на Пасхе 1834 года — Я прошу ее написать на особой записке, которую да приложит к вашему письму, обстоятельно и подробно, сколько раз в этом году поспорила. Это будет очень любопытная и замечательная вещь. Для этого я пришлю ей очень красивый альбом. Под каждым числом и днем написать: сегодня я поспорила столько-то раз и, благодарение Богу, очень успешно; сегодня — увы! — я не поспорила больше одного раза, но с помощью Божией, может быть, завтра за все вознагражду, и так далее».

В 1835 году он вторично навестил мать в Васильевке, а оттуда съездил в Крым, чтобы «попачкаться в минеральных грязях».

Рядом с литературными и семейными ин-

тересами у Гоголя в эти годы были и другие. Так, прельстившись примером Пушкина, занявшегося историей Пугачевского бунта, он задался мыслью написать историю Малороссии «в шести малых или в четырех больших томах». Усердно принялся он собирать необходимые для того материалы, и в апрельской книжке «Журнала Министерства народного просвещения» 1834 года напечатал «Отрывок из истории Малороссии. Том I, книга I, глава I».

Между тем явился новый соблазн в малороссийских песнях, собранных Ходаковским.

«Как бы я желал теперь быть с вами и пересмотреть их вместе при трепетной свече, между стенами, забитыми книгами и книжною пылью, с радостью жида, считающего червонцы! — писал он Максимовичу. — Моя радость, жизнь моя — песни!

Как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими живыми летописями!.. Я не могу жить без песен. Вы не понимаете, какая это мука. Я знаю, что есть столько песен, и вместе с тем

не знаю. Это все равно, если б кто перед женщиной сказал, что он знает секрет, и не объявил бы ей».

От песен родной старины было рукой подать до матери городов русских. «Туда, туда, в Киев! В древний, в прекрасный Киев! — восклицал он далее. — Да, это славно будет, если мы займем с тобою киевские кафедры: много можно будет наделать добра».

Он серьезно начал помышлять о профессуре. В 1834 году, по протекции Жуковского и Пушкина ему действительно была предоставлена кафедра по всеобщей истории в Петербургском университете. Две лекции, вступительная и другая, прочтенная им в присутствии Жуковского и Пушкина, были блестящи. «Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию, и потому приготовился угостить их поэтически, — рассказывает один из его бывших слушателей (Иваницкий). — Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны... Бывало, приедет, поговорит полчаса с кафедры, уедет, да уже и не показывается целую неделю».

Год спустя он уже оставил университет и писал об этом Погодину с нескрываемою радостью: «Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше...»

Увлечение историей, как строгой наукой, очевидно, было только мимолетным. Но занятия Гоголя историей Малороссии принесли все-таки роскошный плод — «Тараса Бульбу», такую историческую повесть, которая одна уже обессмертила бы имя автора.

Натура его, однако, требовала смеха, не простого смеха, а «сквозь слезы», и, порешив с ученой и педагогической карьерой, он весь отдался выработке предоставленного ему Пушкиным «смешного» сюжета для «Ревизора». В начале 1836 года комедия была готова.

«Если бы сам государь не оказал своего высокого покровительства и заступничества, — писал Гоголь матери, — то, вероятно, комедия не была бы никогда играна или напечатана».

Первое представление «Ревизора» состоя-

лось 22 апреля 1836 года Сам Гоголь глядел на свою пьесу из ложи вместе с Жуковским, князем Вяземским и графом Виельгорским.

«Все участвующие артисты как-то потерялись, — рассказывает про это первое представление Головачева-Панаева. — Они чувствовали, что типы, выведенные Гоголем в пьесе, новы для них, и что эту пьесу нельзя так играть, как они привыкли разыгрывать на сцене свои роли в переделанных на русские нравы французских водевилях».

Едва ли не один только городничий, которого играл Сосницкий, был исполнен как следует; невозможнее же всех кривлялись Бобчинский и Добчинский, нарядившиеся просто какими-то шутами.

Как отнеслась к новой комедии публика, мы узнаём из воспоминаний Анненкова:

«Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумевание это возросло потом с каждым актом... Раза

два, особенно в местах, наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, простая публика за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: это — невозможность, клевета и фарс»[50].

А что же должен был испытывать автор?

«С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный, — признавался он потом одному приятелю. — О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся, и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все другие».

Когда, по возвращении Гоголя домой, Прокпо-вич с торжествующим видом поднес ему сейчас только присланный из типографии экземпляр «Ревизора», Гоголь швырнул книгу об пол и воскликнул:

— Господи Боже! Если бы один, двое ругали, ну и Бог с ними, а то все, все!

Хотя комедию затем продолжали давать чуть не через день и публика ломилась в театр, потому что актеры входили все более в свои роли, хотя Белинский отозвался о «Ревизоре» с восторгом, но поднявшийся в остальной журналистике крик и гам еще более раздражил ожесточенное самолюбие автора. В своем «Театральном разезде» он удивительно ярко и метко передал затем все противоречивые, нелепые толки печати и публики, ко-

торые ему пришлось выслушать о своей гениальной комедии.

«Пророку нет славы в отчизне», — сказал он себе и решил бесповоротно на целые годы, если не навсегда, покинуть Россию; благо и доктора настоятельно посылали его на заграничные воды, чтобы восстановить его сильно пошатнувшееся здоровье. Друг детства Данилевский должен был сопровождать его. Но еще до отъезда он мог убедиться, что вполне оценен, по крайней мере, теми, мнением которых особенно дорожил.

Из великосветских салонов два были ему давно уже открыты: Карамзиной и донны Sol (вышедшей между тем за некоего Смирнова, впоследствии губернатора). И там и здесь собирался «ковчег Арзамаса»; но Карамзина говорила со своими гостями не иначе как по-французски, и только мужчины позволяли себе как бы контрабандой переговариваться между собою по-русски. Поэтому Гоголю было там не по себе. В доме Россет-Смирновой, напротив, и по выходе ее замуж он был своим человеком: приходил когда угодно, а не заставляя дома хозяев, шутил со старушкой-горнич-

ной Марьей Савельевной, большой его почитательницей, которая, бывало, во время его чтения, подавая гостям чай, умилялась до слез Пульхерией Ивановной.

Раз уже он читал своего «Тараса Бульбу» у Смирновой. Теперь, когда его отъезд был окончательно решен, Александра Осиповна потребовала, чтобы он прочел его у нее еще раз, притом все разговоры действующих лиц — по-малороссийски, как подобает родине Тараса. Присутствовать при чтении был приглашен самый тесный кружок настоящих знатоков: Пушкин, Жуковский, Вяземский, Плетнев и Мятлев, а из не литераторов — один только хозяин, Николай Михайлович Смирнов. Александра Осиповна была очень довольна, когда жена Пушкина, которой нельзя было обойти, сама уклонилась прибыть под предлогом, что обещалась уже ранее с сестрами быть у своей тетушки Ксавье.

Гости прибыли уже к обеду, который прошел очень оживленно. После обеда курящие удалились в бильярдную, а двое некурящих — Плетнев и Гоголь — остались с молодой хозяйкой. Прощаясь с родиной надолго,

Гоголь был в грустном настроении, сам навел разговор на своих родных и с особенною нежностью отозвался о матери и маленьких сестрах.

По возвращении курящих в гостиную, началось чтение, которое прерывалось только два раза: для чая и для ужина. Во время перерывов речь вращалась также почти исключительно около прочитанного.

— Это — целая эпопея, — говорил Пушкин, — в которой можно было бы найти материал для прекрасной драмы. Акт первый: приезд сыновей и прощание с матерью — две прелестные сцены по контрасту радости и горя. Акт второй: объяснение Андрия с его красавицей-полячкой и гнев Тараса. Акт третий — бесподобный: совет казаков. Акт четвертый: последнее прощание Андрия с его польской Джульеттой — в повести этой сцены нет, но в драме она нужна — и пытка Остапа. «Батько! где ты? слышишь ли ты все?» Этот крик, в котором зараз сказываются и казак и сын, просто великолепен! Что касается, наконец, пятого акта, то изобразить перед зрителями воочию ряд убийств немисли-

мо; поэтому этот акт следовало бы возможно сократить, заставив Тараса возвестить о катастрофе своей жене и взбунтовать казаков своей пламенной речью.

— Что бы вам, Александр Сергеевич, написать драму «Тарас»! — воскликнул Гоголь. — Вы сделали бы это по-шекспировски!

— Сюжет шекспировский, правда, но сделать из него драму — дело автора.

По окончании чтения Пушкин вскочил с места, схватил Гоголя обеими руками за голову и поцеловал его в лоб.

— Пиши, голубчик, пиши! Все, что есть в этой голове, должно вылиться из нее. Ты увидишь теперь, что создал Запад в мире искусства; ты уже понял искусство: твои статьи о нем это доказывают. О, как я тебе завидую, что ты можешь путешествовать! С Богом же! Пиши, думай, работай, не заглушай ничего: ни ума, ни сердца, ни воображения, ни души...

Это было напутственное благословение гениального учителя гениальному ученику, формальный диплом на «мастера», запечатленный торжественным поцелуем в присут-

ствии других представителей русской литературы.

Накануне самого отъезда Гоголя Пушкин просидел у него опять всю ночь напролет — в последний раз перед вечной разлукой...

Две недели спустя Гоголь писал из Гамбурга Жуковскому:

«Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст. В самом деле, если рассмотреть строго и справедливо, что такое все написанное мною до сих пор? Мне кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, в которой на одной странице видно нерадение и лень, на другой — нетерпение и поспешность, робкая, дрожащая рука начинающего и смелая замашка шалуна, вместо букв выводящая крючки, за которые бьют по рукам. Изредка, может быть, выберется страница, за которую похвалит разве учитель, провидящий в них зародыш будущего. Пора, пора наконец заняться делом»...

И сам он наконец понял, что ученические годы его пришли к концу.

Эпилог

Кто может сказать, как развернулся бы еще Гений Гоголя, останься жив его главный руководитель и вдохновитель — Пушкин?! Вот как сам Гоголь оплакивал смерть Пушкина (в письме к Погодину от 30 марта 1837 г.):

«Моя утрата всех больше. Ты скорбишь как русский, как писатель, а я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета, Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой („Мертвые души“) есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его (т. е. труда) не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен

он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя?..»

Тем не менее, он продолжал свои «Мертвые души», и первая часть их вполне удалась. Но объяснение этому дают следующие строки, написанные два года спустя:

«Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание».

Шар, приведенный в движение постороннею силой, продолжает еще катиться, хотя бы толкавшая его сила прекратила свое действие. Так и влияние Пушкина еще после его смерти некоторое время продолжалось. От природы слабое здоровье Гоголя было в корне подорвано еще в Петербурге; кончина Пушкина нанесла ему последний решительный удар. Вместе с телом подвергся постепенному расстройству, или, точнее сказать, вырожде-

нию, и духовный мир Гоголя. Проследить все фазисы этого болезненного процесса — дело уже не беллетриста, а психолога и психиатра.

В 1842 году, когда вся образованная Россия зачитывалась сейчас только вышедшим в свет первым томом «Мертвых душ», в которых, по выражению Белинского, «автор сделал такой великий шаг, что все, доселе им написанное, кажется слабым и бледным», — в это самое время тридцатитрехлетний Гоголь видел уже для себя «высшим уделом на свете — звание монаха». Хотя он и протянул еще после того десять лет, но ничем уже не обогатил русской литературы. Не совладав с поставленной себе во второй части «Мертвых душ» задачей — показать и положительные стороны русского человека, отрицательные стороны которого были очерчены им в первой части с таким неподражаемым мастерством, — он предал эту неудачную работу в 1845 году огню; а в следующем году, отрекаясь от всего, что было им до тех пор написано, решился выступить проповедником высшей морали, учителем и пророком русского общества, не будучи в действительности к тому

подготовленным ни по своему образованию, ни по складу ума. Его «Выбранные места из переписки с друзьями», вместо ожидаемого им благоговейного восторга, возбудили в одной части общества, более впечатлительной, представителем которой являлся Белинский, бурю негодования, в другой же — глубокое сожаление о пережившем себя, погибшем гении. В феврале 1852 года Гоголь, в припадке ипохондрии, вторично сжег одиннадцать окончательно отделанных глав второй части «Мертвых душ» (пять глав в черновом виде совершенно случайно уцелели), а 21 февраля самого его не стало. Всего более сокрушались о безвременной кончине его — не как писателя, а как человека — два лица, ближе других стоявшие к нему в жизни: мать и верный слуга Яким, пережившие его — первая на шестнадцать лет, а последний на тридцать три года.

В заключение нам остается сказать несколько слов о самом творчестве Гоголя и о месте этого писателя в истории русской литературы.

Свое истинное призвание Гоголь сознал

довольно поздно. Еще на школьной скамье, «самых лет почти непонимания» (по собственным его словам в письме к П.П. Косяровскому от 3 октября 1827 г.), он «пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства... быть в мире и не означить своего существования — это было для него ужасно». Особенно его прельщала судебная карьера, потому что «неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало его сердце». Но бывший министр юстиции Трощинский, при посредстве которого он рассчитывал пробить себе дорогу на назначенном поприще, умер почти тотчас по прибытии Гоголя в Петербург, а другой влиятельной протекции у него не имелось. Сатирической жилке, которая пробивалась у него еще в отрочестве, сам он не придавал сколько-нибудь серьезного значения. Иное дело — высокая поэзия; не она ли та область, в которой ему суждено «означить свое существование»? Но первая же попытка его в этой области с «Ганцом Кюхельгартенем» претерпевает полную неудачу. С отчаяньем в сердце, ради хлеба насущного, приходится волей-неволей на-

деть «чиновничий хомут». Чтобы скрасить серую жизнь «канцелярского», он принимается пересказывать на свой лад старинные поверья родной Украины. Но и тут, даже пристроив свою первую прозаическую «быль» — «Вечер накануне Ивана Купала» в «Отечественных Записках», он еще далеко не уверен, что вышел на свою настоящую дорогу. Он пытается попасть на императорскую сцену; он делается педагогом, добивается профессуры, ищет лавров историографа — даже тогда, когда Пушкин и Жуковский приветствуют уже в нем достойного литературного собрата. Только написав «Ревизора», он, кажется, окончательно освоился с мыслью, что единственное для него поле «службы» на благо родины — литература. Ожесточенные и бессмысленные нападки невежественного большинства на его бесподобную комедию, при безусловном одобрении ее истинными ценителями, еще более укрепили в нем веру в свои «авторские» обязанности.

«Все, что ни делалось со мною, — говорил он в мае 1836 года, — все было спасительно для меня. Все оскорбления, все неприятности

посылались мне высоким Провидением на мое воспитание, и ныне я чувствую, что неземная воля направляет путь мой».

Яснее еще взгляд его на возложенную на него свыше задачу выразился в авторской «Исповеди»: «Творя творение свое, он (автор), исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности и силы, и, исполняя его, он служит в тоже самое время так же государству своему, как бы он действительно находился на государственной службе. Как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить также службу государственную, я бросил все...»

Еще под свежим впечатлением вынесенной им журнальной брани за «Ревизора», он в «Театральном Разъезде» разъясняет настоящее значение своего «холодного смеха»:

«Во глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечной, могучей любви. И почему знать, может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый

возрастает, как исполин, среди бед, в силу тех же самых законов, кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!»

Но где же ключ к такому направлению его поэтического творчества? Сам Гоголь дает нам его в следующем своем признании (в «Переписке с друзьями»):

«Никто из читателей моих не знал, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною. Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, как не было также никакой картинной добродетели, но зато вместо того во мне заключалось собрание всех возможных недостатков, каждого понемногу... По мере того как они стали открываться, чудным высшим внушением усиливалось во мне желание избавляться от них... С этих пор я стал наделять своих героев, сверх их собственных недостатков, моими собственными.

Вот как это делалось: взявши дурное свойство свое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесше-

го мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало...»

Со своей стороны мы должны к этому добавить, что Гоголь, не обладая ни глубоким философским умом, ни систематическими научными познаниями, был одарен изумительною наблюдательностью, особенно в отношении пошлых, отрицательных сторон жизни, редкою способностью — из собранных материалов создавать живые типы и необычайным поэтическим талантом, — без чего его произведения, конечно, не имели бы и сотой доли своего значения. Белинский, этот компетентнейший литературный судья, восторженно приветствовавший в Гоголе новое направление в русской литературе, так очерчивает его совершенно своеобразный талант:

«Если Гоголь часто и с умыслом подшучивает над своими героями, то без злобы, без ненависти; он понимает их ничтожность, но не сердится на нее; он даже как будто любит ее, как любит взрослый человек на игры детей, которые для него смешны своею наивностью, но которых он не имеет желания

разделить. Но, тем не менее, это все-таки юмор, ибо не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение... Заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностью и юродством этих живых пасквилей на человечество — это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: „Скучно на этом свете, господа!“ — вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством, вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия!

И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно. И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!..

Он всегда одинаков, никогда не изменяет себе, даже и в таком случае, когда увлекается

поэзию описываемого им предмета. Доказательством этого может служить „Тарас Бульба“, эта дивная эпопея, написанная кистью смелую и широкою, этот резкий очерк героической жизни младенчествуящего народа, эта огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера.

После „Горе от ума“ я не знаю ничего на русском языке, что бы отличалось такою чистейшею нравственностью и что бы могло иметь сильнейшее и благодетельнейшее влияние на нравы, как повести Гоголя.

Я забыл еще об одном достоинстве его произведений: это лиризм, которым проникнуты его описания таких предметов, которыми он увлекается. Описывает ли он бедную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощение святого чувства любви, — сколько тоски, грусти и любви в его описании! Описывает ли он юную красоту, — сколько упоения, восторга в его описании! Описывает ли он красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссии, — это сын, ласкающийся к обожаемой матери! Помните ли вы его описание безбрежных степей днепровских? Какая ши-

рокая, размашистая кисть! Какой разгул чувства! Какая роскошь и простота в этом описании! Черт вас возьми, степи, как вы хороши у Гоголя!..»

Все это было высказано нашим знаменитым критиком еще по поводу «Миргорода». В 1840 году в большой критической статье о «Горе от ума», подробно разбирая Гоголевского «Ревизора», он отозвался, что в этой комедии «нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны, как необходимые части, художественно образующие собою единое целое».

При выходе же в 1842 г. «Мертвых душ», Белинский, указав на то, что со смертью Пушкина и Лермонтова «какое-то апатическое уныние овладело литературою», заликовал, что «вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовью к плодо-

витому зерну русской жизни; творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое...»

Крепостное право с его живыми и мертвыми душами отошло уже для современного поколения чуть не в область предания, но выведенные Гоголем человеческие типы по-прежнему живы, будя в нас совесть и доставляя нам вместе с тем неиссякаемое грустное веселье и эстетическое наслаждение. Гоголь первый из наших прозаиков заглянул в самую глубину души русского человека и с добродушным юмором выставил перед нами во всей неприглядности наши коренные нравственные недостатки, в большей или меньшей степени свойственные всему роду человеческому. Поэтому Гоголь был, есть и будет постоянным воспитателем человечества, по преимуществу же русского человека и, следовательно, по полному праву может почитаться родоначальником всей нашей позднейшей «трезвой» литературной прозы, так как «Ка-

питанская дочка», это лучшее прозаическое произведение Пушкина, главы нашей литературной поэзии, появилась в свет только в 1836 году, одновременно с «Ревизором», когда «Вечера на хуторе» и «Миргород» прославили уже Гоголя, как неподражаемого рассказчика и юмориста. Благодаря Пушкину, русское общество создало наконец всю важность письменной речи, как искусства, для нравственного подъема народа; Гоголь же, воплотив это искусство в самых наглядных образах, выхваченных прямо из жизни, довершил дело своего учителя-поэта и блестяще выполнил, таким образом, свое земное призвание, кратко и красноречиво выраженное в стихе пророка Иеремии, начертанном на его могильном камне:

«Горьким словом моим посмеюся».

1899

Примечания

Из «Умиряющего Тасса» Ф. Батюшкова.

[^^^]

2

До сороковых годов счет у нас был ассигнационный: на 1 рубль серебром приходилось ассигнациями 3 р. 50 к.

[^^^]

3

Сколько известно, Гоголь действительно до самой смерти не встретился уже с Высоцким.

[^^^]

4

В настоящее время просто Миллионная.

[^^^]

5

Считаем нужным здесь оговориться, что приведенные выше порядки бывшей юнкерской школы относятся ко временам давно минувшим и отошли, разумеется, уже в область преданий.

[^^^]

Бывший министр юстиции Трошинский, «кибинцкий царек», скончался в феврале 1829 года.

[^^^]

В этом доме Гоголь прожил слишком два года. Фамилия и профессия домохозяина остались ему настолько памятливы, что впоследствии в своем «Ревизоре» он заставил своего Хлестакова сожалеть, что «Иохим не дал напрокат кареты; а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете; подкатишь этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо с фонарями» и т. д.

[^^^]

Родные тетки М.И. Гоголь.

[^^^]

9

Король умер — да здравствует король! (фр.).

[^^^]

В Любек, господин (нем.).

[^^^]

По своему усмотрению (лат.).

[^^^]

Перевод И. Козлова.

[^^^]

Просим читателей не забыть, что действие рассказа происходило в 1829 году. Об отсутствии в Любеке извозчиков упоминает сам Гоголь в своем письме оттуда к матери.

[^^^]

14

В одном любекском талере полагалось 2,5 марки, а в марке 16 шиллингов.

[^^^]

Сладостное безделье (ит.).

[^^^]

А.А. Трощинский, родившийся в 1774 г., по обычаю того времени, еще ребенком был занесен в список солдат гвардии, в 10 лет от роду был уже сержантом, в 18 — капитаном, а в 31 — генералом. С 1811 г. он состоял в отставке и зиму проводил в Петербурге, а лето в деревне. В 1821 г. он женился на молодой красавице — Ольге Дмитриевне Кудрявцевой, внучке (по матери) польского короля Станислава Понятовского. Ольга Дмитриевна была в приятельских отношениях с М.И. Гоголь, находилась с нею в постоянной переписке и крестила одну из ее дочерей — Лизоньку.

[^^^]

В значении: полная воля (фр.).

[^^^]

Так вот (фр.).

[^^^]

Сам Гоголь в одном письме к матери (от 1 ноября 1833 г.) говорил, что «если б запел соло, то мороз подрал бы по коже слушателей».

[^^^]

Из любви к делу, бескорыстно (фр.).

[^^^]

В приходно-расходной книжке Гоголя за январь 1830 г. показано в приходе: «Выручил за статью, переведенную с французского „О торговле русских в конце XVI и начале XVII в.в.“ для „Сев. Арх.“ — 20 рублей. Такой статьи, однако, не оказывается в журнале „Сын Отечества и Северный Архив“ ни в 1829, ни в 1830 г. По справедливому замечанию одного из биографов Гоголя (В.И. Шенрока), перевод, по всему вероятно, был не настолько хорош, чтобы можно было напечатать, хотя за него и было уже уплачено.

[^^^]

Французский книжный магазин у Полицейского моста, перешедший затем к Дюфуру, от Дюфура к Мелье, а от последнего — к нынешнему владельцу, Цинзерлингу.

[^^^]

«Кто не бывал никогда в карауле, тот не знает этого удовольствия!»

[^^^]

Заключительный стих элегии Ф. Батюшкова
«Умиравший Тасс».

[^^^]

Для интересующихся содержанием этой книжки «Отечественных Записок», в которой было помещено начало первого рассказа Голя, выписывает здесь все оглавление:

1. Практический механик в Грязовце В.М. Лебедева. — 2. Договорная окончательная грамота, составленная и подписанная в 1634 году полномочными послами русскими и польскими об отречении Владислава, короля польского, от престола московского и от всех царских титулов российского государства. — 3. Отрывок из походного дневника егерского офицера Павла Должикова. — 4. Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви. (Окончание в следующей книжке.)

Стихотворения: 1. Второй (sic!) отрывок из комедии Светский быт. — 2. Четыре времени (sic!) года русского поселянина. Ф. Слепушкина.

Проза: 1. Переписка. Письмо из отдаленной Сибири. — 2. Военные события.

Смесь: Умористика (sic!): Люди не на своих местах. — Про калифа Гарун-аль-Рашида. — Ротта или присяга самоедов. — Кудеси или колдовство самоедов. — Еще безденежный курс на российском языке: Курс лесоводства. — Слово об актерах-волонтерах.

[^^^]

В трагедии В. Озерова того же названия.

[^^^]

Л.А. Перовский впоследствии, действительно, был министром внутренних дел и возведен в графское достоинство.

[^^^]

Три года спустя, в сборнике Смирдина «Новоселье» был напечатан отрывок из повести В. И. Панаева «Раскольник». Героем повести является молодой князь Мышицкий, сын князя Дениса Мышицкого, верного слуги царевны Софьи Алексеевны, выросший в Заонежье между раскольниками и приехавший в Москву на коронацию Петра II.

[^^^]

В июле месяце прибыл еще нежинец Ваня Пашенко, который в этом только (1830) году окончил курс и поселился вместе с Гоголем и Прокоповичем.

[^^^]

Первое печатное произведение Жуковского —
«Сельское кладбище», переведенное из Грея.

[^^^]

В 1830 году Жуковскому было уже 47 лет.

[^^^]

Василий Львович Пушкин скончался в
Москве в том же 1830 году.

[^^^]

С воинственным криком на устах (фр.).

[^^^]

Тогдашний министр финансов.

[^^^]

Мольба барона Дельвига была как будто услышана: Пушкин два раза тщетно порывался пробраться сквозь карантин в Москву и только в начале декабря был наконец туда впущен. Зато эти три месяца дали ему небывало обильную литературную жатву: он окончил две последние главы «Онегина» и написал (вчерне) стихотворную повесть «Домик в Коломне»; четыре драматические поэмы: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы» и Дон-Жуана; пять повестей Белкина и до тридцати мелких стихотворений. Но самому Дельвигу не пришлось уже пользоваться плодами музыки своего лицейского друга: давно недомогая, он был окончательно сражен временным запрещением его «Литературной газеты» и умер вслед за тем (14 января 1831 г.).

[^^^]

Она была напечатана в журнале Раича «Галатя» в 1830 г.

[^^^]

Из послания Жуковского великой княгине Александре Феодоровне на рождение великого князя Александра Николаевича — впоследствии царя-освободителя Александра II.

[^^^]

Алексей Иванович Оленин — директор Императорской Публичной библиотеки.

[^^^]

Умалишенные до перевода их в больницу Всех Скорбящих за Нарвскою заставой помещались в Обуховской больнице. Здание ее в те времена было окрашено в желтый цвет, откуда и название «Желтый дом».

[^^^]

Это попросту пошло... это не лица, а, как говорят французы, — рожицы. (Так хотел по крайней мере, надо думать, выразиться Гнедич, вышеприведенная фраза которого нашло потом место, в числе курьезов, в записной книжке Вяземского.)

[^^^]

Отец ее, le chevalier Joseph (Осип Иванович) de Rosset, был француз-эмигрант; а мать ее происходила от брака полуфранцуза-полунемца Лорера с грузинскою княжной Цициановой.

[^^^]

Речь идет о луковичном растении — *Muskerr*
Europaе.

[^^^]

На войне — по военному (фр.); здесь в значении: приравниваясь к условиям.

[^^^]

Но, Александр!.. (фр.).

[^^^]

«Домик в Коломне», вчерне оконченная еще осенью 1830 г. в Болдине.

[^^^]

Очевидно, «Сказка о купце Остолопе».

[^^^]

Из «Евгения Онегина».

[^^^]

Про описанную выше сцену слышал от самого профессора Штейна сын его Р.Ф.Штейн, известный наш иллюстратор, а от последнего — пишущий эти строки.

[^^^]

Первый том «Новоселья» вышел за год перед тем с следующим объяснением «От издателя»:

«...Простой случай — перемещение книжного магазина моего на Невский проспект (19 февраля 1832 г.) — доставил мне счастье видеть у себя на новоселье почти всех известных литераторов.

Гости-литераторы, из особенной благосклонности ко мне, вызвались, по предложению Василия Андреевича Жуковского, подарить меня на новоселье каждый своим произведением, и вот дары коих часть издаю ныне...»

Заглавный лист этого альманаха был украшен прилагаемою виньеткою. В числе гостей хлебосольного книгопродавца мы не видим здесь Гоголя, который или вовсе не был приглашен, или оставлен художником без внимания, как не давший еще ничего для альманаха. Зато в следующем томе «Новоселья» (за 1834 г.), где появилась «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», к повести был

приложен очень характерный рисунок, изображавший самый момент «ссоры».

[^^^]

В числе негодующих был и прежний начальник и доброжелатель Гоголя В. И. Панаев, который, как романтик, не мог простить ему теперь его неприкрашенный реализм и находил «Ревизора» «безобразной карикатурой на администрацию России», а по выходе в свет «Мертвых душ», говорил, что «Гоголю надо запретить писать, потому что от всех его сочинений пахнет тем же запахом, как от лакея Чичикова».

[^^^]